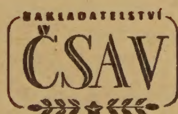
ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD
SLOVANSKÝ ÚSTAV

SLAVIA

časopis pro slovanskou filologii



Ročník XXV PRAHA 1956 Sešit 3

OBSAH

ČLÁNKY:

Všechny tyto články jsou věnovány univ. prof. Dr Josefu Vajsovi k devadesátinám (srov. sešit 2)

ZPRÁVY:

О трех типах научно-лингвистических транскрипций

(в связи с вопросами теории фонем)

Р. И. Аванесов (Москва)

1.

Любой тип звукового письма, будь то фонетическая транскрипция или орфографическое письмо, всегда так или иначе соотнесен с фонетической системой языка, ибо каждой отдельной букве, или графеме, являющейся основной единицей звукового письма, обычно соответствует одна кратчайшая звуковая единица, которая в зависимости от разных аспектов своего функционирования может получить собственно фонетическую или фонологическую квалификацию. Однако отношения между буквами письма и звуковой стороной языка могут быть весьма различны в разных типах звукового письма.

Не будем здесь касаться о р ф о г р а ф и ч е с к о г о п и с ь м а, ибо орфография того или иного конкретного языка определенного периода его развития есть явление историческое, складывалась постепенно, нередко в течение многих веков. Поэтому она обычно не бывает единой по своим принципам: отдельные ее элементы нередко оказываются в разных отношениях к звуковой стороне языка.

В одних случаях отношения эти закономерны: букве непосредственно соответствует определенный звук (ср. написание *дом* при наличии в произношении [дом]) или букве опосредствованно соответствует определенный звук (таково написание буквы *о* при наличии в произношении звука [ʌ] в слове *дома* — [дʌма́] по образцу *дом*; ср. [вʌда́] — [во́ды], [стʌлы́] — [стол] и т. д. при написании *вода, воды, столы, стол* и т. д.; таково также написание буквы *д* при наличии в произношении звука [т] в слове *сад* - [сат] по образцу *сады* - [сʌды́]; ср. [склат] - [скла́ды], [плот] - [плʌды́] и т. д. при написании *склад, склады, плод, плоды* и т. д.

В других случаях отношения между буквами письма и звуковой стороной языка не полностью закономерны или полностью не закономерны, условны, «случайны» (с точки зрения современных отношений). Так, например, написание буквы *в* в слове *столов* (род. п. м. ч.) закономерно по отношению к любой букве согласных кроме *ф*, но не закономерно и условно по отношению к этой последней букве: на конце слова [в] и [ф] не различаются, произносится только глухой, т. е. ф; при этом положение в конце флексии есть позиция «не проверяемая», т. е. отсутствуют отношения, имеющиеся в случаях типа [кʌро́ф] при [кʌро́въ]; поэтому с равными основаниями эта флексия могла бы писаться и с буквой *ф* на конце. Таким образом

выбор между буквами *в* и *ф* условен и случаен (с точки зрения звуковой системы современного русского литературного языка), но наличие одной из этих букв, а не любой другой буквы согласных закономерно и определяется звуковой системой. То же можно сказать о букве *к* в слове *вокзал* — произносится [вʌгза́л] (наличие буквы *к*, а не *г* условно, но наличие одной из этих букв, а не любой другой закономерно), о букве *о* в слове *топор*, произносится [тʌпо́р] и о букве *а* в слове *сарай*, произносится [сʌра́i̯]. Написание буквы *о* или *а* в них произвольно и случайно с точки зрения звуковой системы современного русского литературного языка; с равным успехом слово *топор* могло бы писаться с буквой *а*, а слово *сарай* с буквой *о*, однако наличие именно одной из этих букв, а не других букв гласных, например, *у* или *ы* в этих словах закономерно и определяется звуковой системой языка. Примером написания полностью не закономерного и условного может служить буква *г* во флексии *-ого (-его)*, на месте которой произносится [в] (ср. *старого* — [ста́ръвъ], *другого* — [друго́въ]. Отношение звука [в] между гласными к букве *г* ничем не отличается от его отношения к букве любого другого согласного. Иначе говоря буква *г* здесь указывает лишь на наличие какого-то согласного, и на ее месте с одинаковым успехом могла бы писаться буква любого другого согласного, если бы ее употребление было освящено традицией и принято нормами письма.

Теория правописания с точки зрения отношения последнего к структуре языка и прежде всего к его звуковой системе все еще ждет своего исследования на большом конкретном материале разных языков в их истории. Она должна базироваться на изучении звуковой системы языка во всех ее аспектах, в ее связях со структурой языка в целом. На основе такого изучения ниже мы коснемся тех способов звукового письма, которые могут быть использованы при научном изучении языка.

2.

Основной из высших единиц языка с точки зрения элементов звуковой системы является с л о в о. При наличии членения слова на морфемы (что обусловлено строем языка в целом) кратчайшая звуковая единица языка, являющаяся основным элементом звуковой системы, одновременно функционирует как в составе слова в его данной конкретной форме, так и в составе морфемы. Однако характер ее функционирования в составе той и другой структурной единицы языка в одних случаях (и языках) совпадает, а в других резко отличается. Это зависит прежде всего от характера позиционных чередований, определяющих собой звуковую систему языка.

Следует различать два типа позиционных и комбинаторных чередований, из которых первый образует параллельные ряды, не имеющие общих членов, не пересекающиеся друг с другом ни в одной точке, а второй образует ряды не параллельные, частично пересекающиеся, т. е. имеющие один или несколько общих членов. Одним языкам присущи по преимуществу позиционные чередования первого типа (например, старославянскому языку эпохи до падения редуцированных),

в других языках имеются оба типа чередований, образующих более сложную звуковую систему. Таков, например, современный русский язык, звуковая система которого в значительной мере определяется ролью позиционных чередований второго типа, образующих непараллельные, частично пересекающиеся ряды.[1])

В силу своей параллельности чередования первого типа образуют такую звуковую систему, при которой в любой данной позиции различается равное количество звуковых единиц, в связи с чем последние обладают равной различительной способностью. Напротив ряды звуковых чередований второго типа в силу своей непараллельности, пересекаясь между собой некоторых точках, образуют звуковую систему, при которой в разных позициях различается неодиноковое количество звуковых единиц — в одних позициях большее (сильные позиции), в других меньшее (слабые позиции). В связи с этим оказывается, что одни звуковые единицы (а именно звуковые единицы, выступающие в сильной позиции) обладают большей различительной способностью, а другие звуковые единицы (звуковые единицы, выступающие в слабой позиции) — меньшей. Первые назовем сильными фонемами, вторые — слабыми. Последние, будучи эквивалентны двум (или нескольким) звуковым единицам сильной позиции, вследствие нейтрализации обладают ослабленной различительной способностью.

Каждый ряд параллельных позиционных чередований представляет собой чередование вариантов одной фонемы и в целом относится к одной фонеме. Так, например в словах [сат] и [с′ӓт′] (*сад* и *сядь*) — члены параллельного чередования [а] и [ӓ] есть варианты фонемы «а», также как в словах [лу̇ч′] и [кл′ӱч′] — члены параллельного чередования [у̇] и [ӱ] представляют собой варианты фонемы «у».[2])

Непараллельное чередование есть чередование сильной фонемы со слабой (или слабыми), являющейся эквивалентом данной сильной фонемы и еще одной (или нескольких) сильных фонем. Назовем подобное чередование фонемным рядом.

---

[1]) Подробнее этот вопрос вместе с некоторыми другими вопросами теории фонем освещен в статье автора *«Кратчайшая звуковая единица в составе слова и морфемы»* (Сборник «Вопросы грамматического строя», Изд. АН СССР, 1955). Здесь ограничимся лишь иллюстрацией высказанного положения на материале русского языка. Примером позиционных чередований первого типа (параллельных) в русском языке могут служить такие ряды *а // а̇ // ӓ; о // о̇ /ӧ; у // у̇ // ӱ,* в которых наличие того или иного члена чередования обусловленно твердостью или мягкостью последующего или предшествующего согласного. Примером позиционного чередования второго типа могут служить ряды *о // ʌ* и *а // ʌ* после твердых согласных ср. [вол] - [вʌлы́] и [вал] - [вʌлы́] или ряды *т // т* (т. е. нулевой ряд) *д // т* (ср. [плот] - [плʌты́] и [плот] - [плʌды́].

[2]) Точка над буквой гласного слева (напр. ˙*а*, ˙*о*, ˙*у*) указывает на соответствующие гласные после мягкого согласного (т. е. имеющие переднюю и верхнюю экскурсию); точка над буквой гласного справа (напр. *а*˙, *о*˙, *у*˙) указывает на соответствующие гласные перед мягким согласным (т. е. на переднюю и верхнюю рекурсию). Другие знаки объяснены в своем месте или общеприняты.

Фонемные ряды представляют собой ряды непараллельных, в отдельных своих звеньях, пересекающихся, позиционных или комбинаторных чередований, каждый из которых ввиду позиционной обусловленности его членов и их несемасиологизованности по отношению друг к другу образует определенное функциональное единство, которому соответствует тожество морфемы. Ср. функциональное единство сильной фонемы [о] и чередующихся с ней слабых фонем [ʌ] и [ъ], а также функциональное единство сильной фонемы [д] и чередующихся с ней слабых фонем [т] и [д′] в одной и той же, равной себе, тожественной корневой морфеме [вод], общей для слов [вʌдá], [вóды], [вот], [вʌд′é], [въд′иᵉнóı̯]. Таким образом гласный элемент корневой морфемы в этих словах представляет собой фонемный ряд, возглавляемый сильной фонемой [о]: *о* // *ʌ* // *ъ*; конечный согласный элемент той же морфемы представляет собой фонемный ряд, возглавляемый сильной фонемой [д]: *д* // *т* // *д′*. Функциональное единство сильной фонемы [о] и слабой фонемы [ъ], входящих в один фонемный ряд соответствует тожеству флексий в таких словах как [плʌдóм] - [сáдъм], [трʌвóı̯ - [кʌрóвъı̯].

Следует иметь в виду, что не всегда слабая фонема чередуется с одной из соответствующих ей сильных фонем. Это зависит от комбинаторных и позиционных условий, существенных и возможных в данном языке. Например, слабая по глухости-звонкости согласная фонема [т′] в слове ч′ӱт′ не чередуется с сильной фонемой, так как слово это неизменяемое (ср. в изменяемых словах [м′ê′т] - [м′ếд′и]); слабая гласная фонема [ʌ] в слове [стʌкáн] не чередуется с сильной фонемой, так как слово это имеет неподвижное ударение (ср. при подвижном ударении: [нʌгá] - [нóгу].

Анализ о т н о ш е н и й м е ж д у ф о н е м о й и с л о в о м (точнее словоформой), с одной стороны, и м е ж д у ф о н е м н ы м р я д о м и м о р ф е м о й с другой, позволяет сформулировать два следующих закона.

1. Т о ж е с т в у с л о в о ф о р м ы (т. е. той же словоформе) соответствует т о ж е с т в о ф о н е м; напротив «не тожеству» словоформ (т. е. разным словоформам) соответствуют различия в фонемах одного «ранга». Это значит, что каждый из случаев [сон], [сурóк], [пыл′ит], [т′éхн′икум], [рукʌвóм] равен себе лишь при неизменности состава их фонем. При различии в составе фонем перед нами окажется «другое»: ср. [сон] и [сын] или [сан] (различие в сильных фонемах); [сурок] и [сырóк], [пыл′ит] и [пʌл′ит], [т′éхн′икум] и [т′éхн′икъм], [рукʌвóм] и [ръкʌвóм] (различия в слабых гласных фонемах); случаи [пʌл′ит] и [бʌл′ит] отличаются сильными согласными фонемами [п] и [б], а случаи [пыл′ит] и [пыл′иш] — слабыми глухими фонемами [т] и [ш] (т. к. конец слова представляет собой позицию, в которой глухость-звонкость не различается и употребляются только глухие).

2. Тожеству морфемы (т. е. той же морфеме) соответствует тожество фонемных рядов, напротив «не тожеству» морфем соответствует различие в фонемных рядах. Это значит, что звуковая оболочка одной и той же морфемы в составе разных слов и форм всегда состоит из фонем (возможно, разного «ранга» — сильных и слабых), входящих в состав одних и тех же фонемных рядов. Иными словами, состав фонемных рядов в морфеме стабилен. Корневая морфема в словах [вʌда], [вʌды́], [вот], [вʌд′é], [въдʌвóс] состоит из тех или иных членов одних и тех же трех фонемных рядов, каждая из которых возглавляется соответственно сильными фонемами [в], [о], [д]. Различия в звуковой оболочке корневой морфемы этих слов носят позиционный характер.

Таким образом, фонетическая система, основанная на позиционных чередованиях как параллельных, так и пересекающихся, заключает в себе три плана и три аспекта. Первый из них является аспектом собственно фонетическим (не фонологическим!): кратчайшие звуковые единицы в нем рассматриваются с максимальным учетом всех их физиолого-акустических свойств и притом вне отношения к структуре языка, вне учета позиционных условий, определяющих в той или иной мере их качество, без постановки вопроса о том, какие кратчайшие звуковые единицы являются разновидностью одной и той же единицы и какие являются самостоятельными, другими единицами (т. е. без постановки вопроса о тожестве и нетожестве). Два других аспекта — аспекты фонологические. В них кратчайшие звуковые единицы рассматриваются в связи со структурой языка, с учетом позиционных условий, видоизменяющих качество одних и тех же кратчайших звуковых единиц, т. е. с постановкой проблемы тожества и не-тожества их. Однако, объединяясь в указанном отношении, эти два аспекта заключают в себе принципиально существенные различия.

Второй аспект основан на рассмотрении кратчайших звуковых единиц в качестве элементов звуковой оболочки словоформы, т. е. данного конкретного слова в его данной форме (т. е. на рассмотрении их в качестве фонем). Этот аспект исследования назовем словофонематическим, так как исходным для него является слово в той или иной форме, конкретный «случай», как лексико-грамматический факт. Этот аспект позволяет различать в кратчайших единицах звуковой оболочки конкретного языкового случая как те его физиолого-акустические свойства, которые позиционно необусловлены, самостоятельны, фонематичны и образуют разные звуковые единицы (разные фонемы), так и те его свойства, которые позиционно обусловлены, несамостоятельны, не фонематичны и образуют разновидность одной и той же звуковой единицы (варианты одной фонемы). При этом аспекте

в одну единицу (фонему) объединяются все позиционные различия, наблюдаемые в данном конкретном языковом «случае» (слове, той или иной его грамматической форме).

Третий аспект заключается в рассмотрении кратчайших звуковых единиц в качестве элементов морфемы; назовем его поэтому морфофонематическим. При этом аспекте анализа в одну единицу объединяются все позиционные различия, наблюдаемые в одной и той же, равной себе морфеме. Такой единицей является фонемный ряд.

Морфофонематический анализ позволяет установить фонематическую систему языка как сложное целое, в состав которого входят фонемы разных «рангов», находящихся в сложных отношениях друг к другу и укладывающихся в определенные закономерные фонемные ряды. Вместе с тем этот анализ позволяет установить тожество морфемы с точки зрения ее звукового строения, т. е. подводит исследователя к одному из исходных элементов грамматического строя и лексики и помогает понять связи между различными сторонами структуры языка.

3.

В соответствии с тремя «этажами» фонетической системы при научном изучении русского языка целесообразно применение трех типов транскрипции: *1. фонетической, 2. словофонематической, 3. морфофонематической.*

Фонетическая транскрипция стремится обозначить на письме кратчайшие звуковые единицы языка во всем богатстве их реально произносимых физиолого-акустических свойств. Буква как элемент фонетической транскрипции является знаком реально произносимого звука со всеми его доступными анализу и фиксации свойствами.

Словофонематическая транскрипция передает на письме звуковую оболочку конкретного языкового факта, «случая» (слова или слова в определенной его форме), частично «раздевая» входящие в ее состав кратчайшие звуковые единицы — освобождая их от всего «внешнего» — позиционного, обусловленного в данном конкретном языковом факте фонетическим положением и сохраняя «внутреннее», все самостоятельное и функционально значимое. Буква как элемент словофонематической транскрипции является знаком фонемы — сильной (в позиции максимальной дифференциации) или слабой (в позициях меньшей дифференциации).

Наконец, морфофонематическая транскрипция полностью «раздевает» кратчайшие звуковые единицы языка, полностью освобождает их от всего «внешнего» — позиционного, фонетически обусловленного не только в данном «случае» как явлении конкретном и целостном (в слове или в той или иной грамматической форме слова), но также и в каждой его морфеме, «обнажает» кратчайшие звуковые единицы, указывая лишь

на те их стороны, которые существенны самостоятельны, функционально значимы в сильной позиции (в позиции максимальной дифференциации). При морфофонематической транскрипции буква является знаком фонемного ряда: все члены каждого фонемного ряда обозначаются одной буквой, соответствующей сильной фонеме данного ряда.[3])

Фонетическая транскрипция эмпирична в полной мере: она ни в какой мере не связана со структурой языка и лишь «фотографирует». Словофонематическая транскрипция уже углубляется в известной мере в «сущность вещей», она исходит из конкретного языкового факта (слова, той или иной грамматической формы слова) и, абстрагируясь от позиционного, обусловленного в нем и функционально не существенного, выделяет самостоятельное и функционально значимое (фонемы разных «рангов»). Морфофонематическая транскрипция углубляется в «сущность вещей» в наибольшей степени и, абстрагируясь от всего того, что позиционно обусловлено и функционально не существенно для морфемы, выделяет самостоятельное и функционально значимое в морфеме (т. е. фонемные ряды, обозначая их по возглавляющим их сильным фонемам).

Таким образом, морфофонематическая транскрипция представляет собой письмо при помощи знаков, соответствующих только тем элементам звучащей речи, которые в наибольшей степени самостоятельны, независимы, необусловлены позицией и используются с различительной функцией, игнорируя все другие ее стороны, позиционно обусловленные и функционально не существенные. Именно поэтому и оказывается, что многие слова при помощи морфофонематической транскрипции и обычного русского орфографического письма пишутся одинаково. А если учесть специфические особенности русской графики, такие случаи окажутся доминирующими в русском правописании. Ср. [т′ану́] и *тяну*, [п′ат′и́] и *пяти*.

Фонетическая транскрипция не требует особых пояснений, которых требуют транскрипция словофонематическая и морфофонематическая.

4.

С л о в о ф о н е м а т и ч е с к а я т р а н с к р и п ц и я передает на письме звук речи в данном конкретном «случае» (в слове или той или иной форме его), освободив его от тех сторон, которые в нем позиционно обусловлены.

Поэтому не передается на письме более переднее или заднее образование ударенных гласных фонем [а], [о], [у], а также [и] (так как [и] и [ы] принимаются за варианты одной фонемы), обусловленное

---

[3]) Конечно, за исключением тех случаев, когда отсутствует чередование слабой фонемы с сильной (см. выше, раздел 2, а также в дальнейшем изложении примеры в транскрипциях).

положением между твердыми или мягкими согласными, в начале слова перед твердым или мягким, в конце слова после твердого или мягкого: ср. I [мал], [м′а̇л], [м′а̇′л′и] и II [мал], [м′ал], [м′а́л′и];[4]) I [укло́н], [л′о̇н], [л′о̇́н′и] (Лёни) и II [укло́н], [л′он], [л′о́н′и]; I [лу̇̆ч′], [кл′у̇̆ч′] и II [луч′], [кл′уч]; I [м′ил] и [мыл] и II [м′ил] и [мил] (вместо [и] после твердой согласной фонемы произносится [ы]).

Не передается также различие между разновидностями слабой гласной фонемы 1-го предударного слога неверхней нелабиализованной (звучащей в начале слова и в положении после твердого парного согласного как [ʌ], после мягкого согласного как [иᵉ]), которая обозначается знаком *α*. Эта фонема противопоставлена гласным фонемам верхнего подъема — нелабиализованной [ы] - [и] и лабиализованной [у] - [у̇̆]. Ср. сочетания I [л′иᵉч′и́] и [л′ич′и́], [л′уч′и́] в словах *лечи, куличи, ключи,* а также сочетания I [лʌч′и́], [лыч′и́], [луч′и́] в словах *калачи, алычи, лучи*. Приведем примеры в фонетической и словофонематической транскрипции: I [тʌн′и́], [т′иᵉн′и́] и II [тʌн′и́], [т′αн′и́]; I [сʌл′и́], [с′иᵉл′и́] и II [сαл′и́], [с′αл′и́], I [плʌт′и́], [пл′иᵉт′и́] и II [плαт′и́], [пл′αт′и́]; I [бʌл′е́л], [б′иᵉл′е́л] и II [бαл′е́л], [б′αл′е́л].

Если оставить в стороне некоторые детали произношения заударных гласных (в особенности после мягких согласных и шипящих), и иметь в виду отчетливое произношение (по Л. В. Щербе полный стиль), то и в других безударных слогах (кроме заударного конечного открытого слога) нелабиализованная неверхняя гласная [ъ] противопоставляется гласным верхнего подъема — нелабиализованный [и] - [ы] и лабиализованной [у]: ср. I [о́пыт] и [то́път], [ра́зъм] и [ра́зум], [бурʌво́i̯] и [бърʌво́i̯], [рысʌк′и́] и [русʌк′и́], [топ′ът]; [пла̇́ч′ъм] (тв. п. ед. ч.) и [пла̇́ч′ьм] или [пла̇́ч′им]. Исходя из места, занимаемого в системе безударного вокализма, отвлекаясь от позиционно обусловленного качества, слабую нелабиализованную неверхнюю гласную фонему в словофонематической транскрипции обозначаем при помощи знака *α*: [ра́зαм], [бαрαво́i̯].

В тех позициях, в которых твердость-мягкость согласных не различается и выступает согласная фонема слабая по твердости-мягкости, в словофонематической транскрипции вне зависимости от реальной твердости или мягкости согласной употребляется буква соответствующего согласного без указания на мягкость, но с цифрой 1 (справа ниже буквы). Цифра 1 указывает на неразличение в данном положении твердости-мягкости и позиционность реальной твердости или мягкости. Ср. например, случаи I [с′ер], [б′ел], [с′в′о̇л], [с′м′ех], [со́сны], [зноi̯], которые в словофонематической транскрипции обозначаем: II [$с_1$ер],

---

[4]) Здесь и ниже римская цифра I перед транскрибированными словами указывает на фонетическую транскрипцию, II — на словофонематическую транскрипцию, III — на морфологическую транскрипцию.

[б$_1$ел], [с′$_1$в′ол], [с$_1$м$_1$ех], [со́с$_1$ни]. Буква с здесь обозначает переднеязычный зубной фрикативный глухой согласный безотносительно к его твердости или мягкости: последняя позиционно обусловлена, что и обозначено цифрой 1. Перед [е] или [в′], [м′], согласный [с] может произноситься только мягко, перед [н] — только твердо, но это позиционные качества, которые в словофонетической транскрипции не обозначаются.

В тех позициях, в которых глухость-звонкость согласных не различается и выступает согласная фонема слабая по глухости-звонкости (реально глухая или звонкая), в словофонематической транскрипции вне зависимости от реальной глухости или звонкости употребляется буква соответствующего глухого согласного, но с цифрой 2 (справа ниже буквы). Цифра 2 указывает на неразличение в данном положении глухости-звонкости и позиционность реальной глухости или звонкости. Например, слова I [ва́с′ку] (Ваську),[5] [пу̇т′], [гр′ӓс′], [кро̇ф′] в словофонематической транскрипции обозначаем: [ва́с′$_2$ку], [пут′$_2$], [гр′ас′$_2$], [кроф′$_2$].

Наконец, в тех позициях, в которых не различается ни твердость-мягкость, ни глухость-звонкость и выступает слабая согласная фонема как по глухости-звонкости, так и по твердости-мягкости (реально твердая или мягкая, глухая или звонкая), в словофонематической транскрипции (вне зависимости от твердости или мягкости, глухости или звонкости согласной) употребляется буква глухого согласного без указания на мягкость с цифрой 3 (справа ниже буквы). Цифра 3 указывает на неразличение в данном положении как твердости-мягкости, так и глухости-звонкости или мягкости, глухости или звонкости. Ср., например, случаи I [с′п′ел], [спор], [сток], [с′т′их], [узда́], [гвʌз′д′е́], которые в словофонематической транскрипции обозначаем: [с$_3$п$_1$ел], [с$_3$пор], [с$_3$ток$_2$], [с$_3$т′их], [ус$_3$да́], [гвαс$_3$д$_1$е́j]. Таким образом, буква с здесь есть знак для обозначения любого из согласных [с], [с′], [з], [з′] в позиции, где твердость-мягкость и глухость-звонкость не различаются и где поэтому на их месте из числа этих четырех согласных выступает только один — или [с], или [с′], или [з], или [з′].

В заключение приведем одну фразу в фонетической (I) и словофонематической (II) транскрипциях. Вот эта фраза в орфографическом написании: *На другой день весть о пожаре разнеслась по всему околотку* (Пушкин).

I [нъдруго́i̯ д′е̂н′ в′е̂с′т′ ʌпʌжа̂р′ъ ръз′н′иеcла́с пъфс′иему ʌкʌло́тку];

---

[5]) Согласные [с], [з] (по преимуществу [с]) перед заднеязычными (по преимуществу перед [к]) не в начале слова и при том на стыке морфем различаются по твердости-мягкости (ср. 1 [ва́с′ку] и [квʌску́]. Однако, внутри одной морфемы сочетания [ск], [зг] имеют не только общую глухость-звонкость, но также не различают твердость-мягкость первого компонента, который может быть только твердым (ср. 1 [моск], [мʌзг′и́], [во́скъ]). То же можно сказать о сочетаниях [ск], [зг] в начале слова, где твердость-мягкость [с], [з] перед заднеязычным не различается: употребляются только твердые [с], [з]: ср. 1 [скот], [зго́въp].

II [нαд$_1$руго́ј д$_1$е́н′ в$_1$е́с$_3$т′$_2$ αпαжа́р$_1$ε рαз$_1$н′αс$_1$ла́с$_2$ пαф$_3$с′αму́ αкαло́т$_2$ку́].

Знак [д$_1$] обозначает сильную звонкую согласную фонему (т. е. обладающую фонематической, самостоятельной звонкостью), но слабую по твердости-мягкости: в слове *другой* она позиционно тверда, а в слове *день* позиционно мягка; однако эти качества как позиционные в словофонематической транскрипции не обозначаются, и знак *д*$_1$ служит для обозначения как реально твердой фонемы, так и мягкой. Совершенно то же самое можно сказать о знаках в$_1$, з$_1$ и с$_1$: это знаки согласных фонем с самостоятельной, независимой, фонематической звонкостью (в$_1$, з$_1$) или глухостью (с$_1$) и с слабой, зависимой, позиционно обусловленной, нефонематической и потому в транскрипции не обозначенной твердостью или мягкостью.

Знак р$_1$ указывает на слабую по твердости-мягкости фонему [р], т. е. фонему [р] в отвлечении от реальной твердости или мягкости, которая является качеством позиционным. В приведенном примере ([αпαжа́р$_1$ε] перед слабой фонемой [ε] (о ней см. ниже) [р] имеет позиционную мягкость.

Знаки т′$_2$ и т$_2$ обозначают соответственно сильную мягкую или сильную твердую фонемы (т. е. фонемы, обладающие фонематической, самостоятельной мягкостью или твердостью), но слабую по глухости-звонкости: глухость соответствующих фонем в словах *весть* и *околотку* позиционна. Следует иметь ввиду, что это последнее в качестве словофонематической транскрипции по существу осталось не обозначенным, так как знаки т′$_2$ и т$_2$ одинаково служат для обозначения соответственно сильных твердых или мягких фонем реально не только позиционно глухих, но и позиционно звонких. Ср. фонематическую и словофонематическую транскрипцию слов *ходьба, кладбище:* I [хʌд′ба́], [кла́дб′иш̄′ъ] и II [хαт′$_2$ба́], [кла́т$_2$б′иш̄′ъ].

Знак с$_2$ (в слове [рαз$_1$н′αс$_1$ла́с$_2$]) обозначает сильную по твердости-мягкости фонему (так как на конце слова твердость-мягкость различается), но слабую по глухости-звонкости (глухость на конце слова позиционно обусловлена). Тем же знаком в словофонематической транскрипции передается, например, реально произносящийся звук [з] с позиционной звонкостью и самостоятельной фонематической твердостью или мягкостью: I [изба́], II [ис$_2$ба́] (ср. I [р′и^{е}з′ба́]; II [р$_1$ес′$_2$ба́]).

Знаки с$_3$, ф$_3$ обозначают согласные фонемы, слабые как по твердости-мягкости, так и по глухости-звонкости, т. е. с позиционной, нефонематической твердостью-мягкостью и такой же позиционной, нефонетической глухостью-звонкостью. В случае II [пαф$_3$с′αму́] знаку ф$_3$ соответствует глухая твердая согласная [ф]. Однако следует иметь ввиду, что ни глухость, ни твердость здесь по существу не обозначены, так как тот же знак ф$_3$ служит для обозначения фонем с позиционной звонкостью и мягкостью. Ср. слова *ковбой* и *вбил* в фонетической и словофонематической транскрипциях: I [кʌвбо́i̯], [в′б′ил] и II [кαф$_3$бо́ј], [ф$_3$б′и́л]. В случае II [в$_1$ес$_3$т′$_2$] знак с$_3$ обозначает согласную не только глухую, но и звонкую, не только мягкую, но и твердую. Ср. фонетическую и словофонематическую транскрипцию слов *стон, весть, здание, здесь,* где знаку с$_3$ соответствуют согласные глухой твердый [с], глухой мягкий [с′], звонкий твердый [з] и звонкий мягкий [з′]: I [стон], [в′е̂с′т′], [зда́н′иi̯ъ], [з′д′е̂с′]; II [с$_3$тон], [в$_1$ес$_3$т′$_2$], [с$_3$да́н′ијα], [с$_3$д$_1$ес′$_2$].

Знак α обозначает гласную фонему неверхнего подъема, противопоставленную гласным фонемам верхнего подъема — нелабиализованной ([и] - [ы]) и лабиализованной ([у]). В 1-м предударном слоге после твердых согласных, а также в других предударных в абсолютном начале слова она произносится как [ʌ]: ср. I [ʌпʌлжа̂р′и^{е}]

— II [αпαжáр$_1$ε]. В 1-м предударном слоге после мягких согласных она звучит как [и^е]: ср. I [ръз′ни^{е}слáс] — II [рαзн′αс$_1$лáс]; I [пъфс′и^{е}мý] — II [пαф$_3$с′αмý]. В других предударных слогах после твердых согласных она произносится как [ъ] (примеры см. выше).

Знак ε употребляется для обозначения гласной фонемы переднего ряда неверхнего подъема, нелабиализованной, употребляющейся лишь в заударном конечном открытом слоге и противопоставленной не только гласным верхнего подъема ([и], [у]), но также гласной [ъ]. Ср. в фонетической и словофонематической транскрипциях случаи: *баня, бани, баню, в бане:* I [бӓ́н′ъ], [бӓ́ни], [бӓ́н′у], [вбӓ́н′и^е]; II [бáн′α], [бáн′и], [бáн′у], [ф$_3$бáн$_1$ε].

5.

В отличие от словофонематической транскрипции в морфофонематической транскрипции кратчайшие звуковые единицы передаются с освобождением всех их позиционно обусловленных качеств не только в слове или той или иной форме слова, как конкретном «случае», но и в составляющих его морфемах как кратчайших структурных, значимых единицах языка. В морфофонематической транскрипции остаются без обозначения все позиционно обусловленные в морфеме, не существенные для морфемы качества. Буква является знаком фонемного ряда, при чем каждый фонемный ряд обозначается по возглавляющей его сильной фонеме. Однако в тех случаях, когда фонемный ряд неполон, когла отсутствует в словах с данной морфемой сильная фонема, приходится довольствоваться обозначением слабой фонемы. Отметим, что таких случаев, как показывает материал, очень много.

Фонемный ряд, возглавляемый сильной фонемой [о], обозначается буквой *о*.

Ср. фонетическую (I), словофонематическую (II) и морфофонематическую III транскрипции следующих слов: I [мълʌдо́i̯], [мо́лът], [мʌло́жы˒]; II [мαлαдо́j], [мо́лαт$_2$], [мαло́жε]; III [молодо́j], [мо́лод], [моло́же]; I [дърʌго́i̯], [до́рък], [дʌро́жӧ]; II [дαрαго́j], [до́рαк$_2$], [дαро́жε]; III [дорого́j], [до́рог], [доро́же]; I [пӧ́л′ъ] (род. п. ед. ч.), [пʌл′ӓ́] (им. п. мн. ч.), [по́пъл′у], II [по́л′α], [пαл′á], [по́пαл′у]; III [по́л′а], [пол′á], [по́пол′у]; во флексии: I [трʌво́i̯], [кʌро́въi̯]; II [трαво́j], [кαро́вαj]; III [траво́j], [кαро́воj].

Примеры на положение после мягкой согласной.

I [н′ӧ́с], [н′и^{е}слá], [вы́н′ьс]; II [н′ос$_2$], [н′αс$_1$лá], [ви́н′αс$_2$]; III [н′ос], [н′ос$_1$ла], [ви́н′ос]; I [ч′ӧ́рнъi̯], [ч′и^{е}рнá], [нá́ч′ьрнъ]; II [ч′о́р$_1$нαj], [ч′αр$_1$нá], [нáч′αрнα]; III [ч′о́р$_1$ноj], [ч′ор$_1$нá], [нáч′ор$_1$но]: во флексии: I [кʌн′ӧ́м], [о́кун′ъм]; II [кαн′ӧ́м], [о́кун′αм]; III [кон′о́м], [о́кун′ом].

Фонемный ряд, возглавляемый сильной фонемой [а], обозначается буквой *а*.

Приведем примеры во всех трех транскрипциях.

I [дал], [дʌлá], [н′éдъл]; II [дал], [дαлá], [н$_1$éдαл]; III [дал], [дала], [н$_1$едал]; во флексии: I [сʌдáм], [трáвъм]; II [сαдáм], [трáвαм]; III [садáм], [трáвам]; после мягких: I [вз′ắл], [вз′иᵉлá], [н′éвз′ъл′и]; II [ф$_3$з′áл], [ф$_3$з′αлá], [н$_1$éф$_3$з′αл′и]; III [вз′áл], [вз′алá], [н$_1$éвз′ал′и]; I [т′ắнут], [т′иᵉнý], [вй′т′ьнул]; II [т′áнут$_2$], [т′αнý], [вй′т′αнул]; III [т′áнут$_2$], [т′анý], [вит′анул].

Фонемный ряд, возглавляемый сильной фонемой [е], обозначается буквой е.

Приведем примеры в трех транскрипциях:

I [б′éлъį], [б′иᵉлá], [нắб′ьлъ]; II [б$_1$′елαj], [б′αлá], [нáб′αлα]; III [б$_1$елоj], [б$_1$елá], [нáб$_1$ело]; I [м′ếр′ил], [из′м′иᵉр′ắт′], [вй′м′ьр′у]; II [м$_1$éр′ил], [из$_1$м′αр′áт′$_2$], [вй′м′αр′у]; III [м$_1$éр′ил], [изм$_1$ер′áт′$_2$], [вй′м$_1$ер′у]; во флексии: I [фс′иᵉл′é], [вд′ếл′иᵉ]; II [ф$_3$с′αл′é], [ф$_3$д$_1$éл$_1$ε]; III [в с′ол′é], [в д$_1$éле].

Фонемные ряды согласных, возглавляемые твердыми согласными, обозначаются буквой соответствующего согласного без знака мягкости, напротив, фонемные ряды, возглавляемые мягкими согласными — со знаком мягкости.

Ср. в морфофонематической транскрипции: [над$_1$воре́], при [д$_1$вор], [д$_1$вора́] (в фонетической и словофонематической транскрипциях: I [нъдвʌр′é]; II [нαд$_1$вαр$_1$é]); в морфофонематической транскрипции [αцар′é], при [цар′], [цар′á] (в фонематической и словофонематической транскрипциях: I [ʌ цʌр′é], II [α цαр$_1$é]).

Другие примеры: I [нʌд′ếл′ь], II [нαд$_1$éл$_1$ε], III [над$_1$éле]; I [нʌс′ếн′ь], II [нαс$_1$éн$_1$ε], III [нас$_1$éне]; I [квʌд′é], II [квαд$_1$é]; I [кн′иᵉд′ếл′ь], II [кн′αд$_1$éл$_1$ε], III [кн′ад$_1$éл′е]; I [кс′ếн′ь] (к Сене), II [к$_2$с$_1$éн$_1$ε], III [кс$_1$éн′е]; I [гд′ắд′ь], II [к$_2$д′áд$_1$ε], III [кд′ад′е].

Фонемные ряды, возглавляемые глухими согласными, обозначаются соответсвующими буквами глухих, а возглавляемые звонкими согласными — буквами звонких:

III [ход] (при [хóда], [хóду]), ср. I [хот], II [хот$_2$]; III [гр′аз′] (при [гр′áз′и]); ср. I [гр′ắс′], II [гр′ас′$_2$]; III [н′изкоj] (при [н′йзом], [н′йзу]); ср. I [н′йскъį], II [н′ис$_2$кαj], III [плот] (при [плотá]); ср. I [плот], II [п$_1$лот$_2$], III [кос′ба] (при III [кос′ит′$_2$]); ср. I [кʌз′бá], II [кαс′$_2$бá]); III [ход′бá] (при III [ход′йт′$_2$]), ср. I [хʌд′бá], II [хαт′$_2$бá].

В качестве иллюстрации приведем два стиха Пушкина во всех трех транскрипциях:

Сижу за решеткой в темнице сырой
Вскормленный на воле орел молодой

I [с′ижý зъриᵉшóткъį фт′иᵉмн′йцыᵌ сырóį
фскʌрмл′ȫнъį нʌвȫл′ь ʌр′ȫл мълʌдóį]
II [с′ижу зαр′αшóт$_2$кαj ф$_3$т′αмн′йцε сирój
ф$_3$с$_2$кαр$_1$мл′óннαj нαвóл$_1$ε αр′óл мαлαдój]
III [с′ижý зар′αшóткоj вт′омн′йце сирój
взкор$_1$мл′óнноj навóл′е ор′óл молодój].

В приведенных стихах лишь в одном случае не оказалось сильной гласной фонемы, возглавляющей фонемный ряд: речь идет о предударном гласном в слове «решеткой». В словах и формах с данной корневой морфемой ударение никогда

не падает на первый слог. Поэтому в морфофонематической транскрипции пришлось оставить то написание, которое было в словофонематической транскрипции: знак *α*, указывающий на нелабиализованную неверхнюю фонему (после мягких она произносится как [иᵉ]). Этой фонеме под ударением могла бы соответствовать одна из трех сильных фонем: [е], [о], [а].

Во всех других случаях каждая кратчайшая единица обозначена по сильной фонеме, являющейся знаком фонемного ряда. Иными словами перед нами письмо фонемными рядами. Все остальные гласные (кроме только что разобранного случая с [иᵉ]) могут быть в той же морфеме в сильной позиции — под ударением и обозначены в соответствии с тем, какой гласный произносится под ударением: это предлоги III [за], [на], корни III [т′ом] (напр., в I [т′ŏмнъį̯], [т′ŏ́м′ьн]), III [мóлод] (ср. I [мóлът], [мʌлóжыᵊ]); написание III [ор′óл] с [о] вытекает из [óрл′ик]; написание окончания III [oj] в слове *решеткой* вытекает из I [трʌвóį̯], [с′т′иᵉнóį̯]; написание окончания III [е] в словах «*в темнице*», «*на воле*» вытекает из I [трʌв′é], [с′т′иᵉн′é]; написание окончания III [oj] в слове *вскормленный* вытекает из I [мълʌдój], [другój] и т. д.

Написание *т* в слове «*решеткой*» вытекает из I [риᵉшóтък]; написание *в* в сочетании «в темнице» — из I [вмŏ́р′ь], [вл′иᵉсý], [вʌгн′é] и т. д.; написание *вз* в слове «вскормленный» — из I [взл′иᵉт′ё́т′], [взр′иᵉвё́т′] и т. д.

Если учесть некоторые особенности русской графики, например, что [о] после парных мягких согласных обозначается буквой е *(ё)*, а после шипящих м о ж е т обозначаться этой буквой (см. *орел, решеткой*) или что сочетание мягкой парной и твердой парной согласной с последующей фонемой [и] обозначается соответственно буквой гласного — *и* (после мягких) и *ы* (после твердых парных, ср. в нашем примере *сижу* и *сырой*), то нетрудно сделать вывод о том, что м о р ф о ф о н е м а т и ч е с к а я транскрипция весьма б л и з к а к русскому о р ф о г р а ф и ч е с к о м у п и с ь м у. Это объясняется тем, что русская орфография в основном строится на так называемом морфологическом принципе, который как раз и означает, что все несущественное для морфемы, позиционное, в ней не обозначается: кратчайшая звуковая единица каждой морфемы обозначается в ней обычно одной буквой для каждого фонемного ряда в целом, вне зависимости от произношения, обусловленного позиционными условиями.

6.

В связи с тем, что м о р ф о ф о н е м а т и ч е с к а я т р а н с к р и п ц и я исходит и з м о р ф е м ы (а не из слова в целом или одной из его конкретных форм) она позволяет установить еще некоторые особенности структуры звуковой оболочки языка, обычно остающиеся в тени.

Фонему как кратчайшую звуковую единицу можно уподобить строительному материалу — она может быть названа «строительным материалом» языка. Но так же, как строительным материалом языка

в прямом смысле являются не только отдельные кирпичи как минимальные единицы, но и целые блоки (из многих «связанных» кирпичей), в качестве строительного материала звуковой оболочки языка выступают не только фонемы как кратчайшие и далее нечленимые звуковые единицы, но и типичные сочетания фонем, некоторые из которых имеют определенные общие для сочетания (для «блока») звуковые признаки.

Некоторую аналогию таким типичным сочетаниям фонем представляют разного рода «связанные» сочетания слов (фразеологические обороты, идиомы), общим признаком которых является их функционирование в качестве одной лексико-синтаксической единицы (одного члена предложения).

Одни из сочетаний фонем встречаются как в начале слова (перед гласным), так и в середине слова (между гласными) и в конце слова (после гласного). Таковы, например, сочетания [ск], [ст]: I [скот], [тʌска́], [пуск]; [стол], [пусто́i̯], [мост]. Другие, как правило, не встречаются на конце слова, употребляясь в двух других положениях. Таковы, например, сочетания [кн], [гн], [пл], [бл], [кл], [гл]: I [кнут], [ʌкно], [гнут], [мʌгна́т], [плот], [т′иᵉпло́], [блʌха́], [во́блъ], [клоп], [с′в′о̂клъ], [глуп], [мʌгла́]. Третьи, как правило, не встречаются в начале слова, употребляясь в двух других положениях. Таковы, например, сочетания [нд], [нт], [рб], [рп], [мб]: I [ба́ндъ], [бант], [ба̂н′т′ик], [ʌрба́], [карп], [кʌрп′е̂т′], [клу́мбъ], [тромп]. Употребляемость тех или иных сочетаний в указанных положениях определяется структурой слога русского языка и законами слогоделения.

Некоторые из приведенного типа сочетаний имеют, наряду с различиями в образовании входящих в их состав согласных, ту или иную свою общую характеристику, общие признаки, относящиеся к сочетанию в целом. Общими признаками сочетаний согласных в русском языке могут служить: 1. твердость-мягкость, 2. глухость-звонкость, 3. одновременно как твердость-мягкость, так и глухость-звонкость.

Так, например, сочетание [сн] в словах I [сноп], [сно́въ] обладает твердостью, которая характеризует сочетание в целом и которую трудно было бы отнести к его компонентам в отдельности. Точно также сочетание [с′н′] в словах I [с′н′ек], [с′н′о̂с] обладает мягкостью, которая является признаком всего сочетания, а не одного из его компонентов.

Сочетание [кт] в слове I [до́ктър] обладает общей глухостью, а сочетание [гд] в слове I [кʌгда́] — общей звонкостью, при чем эти признаки трудно отнести к их компонентам в отдельности. Сочетание [жд] в слове I [рʌжда̂т′] характеризуется общей звонкостью.

Сочетание [ст] в словах I [стол], [стʌлкну́л] обладает общей для его компонентов твердостью и глухостью, сочетание [с′т′] в словах I [с′т′иᵉна́], [с′т′иᵉн′е́] в целом обладает мягкостью и глухостью, сочетание [зд] в словах [зда̂н′ии̯ъ], [здал] — твердостью и звонкостью, сочетание [з′д′] в словах [з′д′е̂с′] и [з′д′е́лъл]

— мягкостью и звонкостью. Таким образом, в этих сочетаниях общим признаком каждого из них в целом является одновременно как твердость или мягкость, так и глухость или звонкость.

Так как морфологическая транскрипция исходит из морфемы, а не из слова в целом или его определенной грамматической формы, как это имеет место при словофонематической транскрипции, то для первой в отличие от последней не безразлично находится ли то или иное сочетание, имеющее определенный общий признак, внутри одной морфемы, или на стыке морфем. В тех случаях, когда сочетание находится на стыке морфем при морфофонематической транскрипции имеется возможность установить индивидуальные признаки каждого из компонентов сочетания. В отличие от этого в тех случаях, когда сочетание находится внутри одной морфемы, общие признаки сочетания оказываются неотносимыми к отдельным его компонентам, а характеризуют сочетание в целом. Так, например, сочетание [с′т′] в слове I [с′т′их] (прош. вр. глагола) находится на стыке морфем: первый его компонент относится к приставке, а второй — к корню. Поэтому оно легко членится (ср. *стих* - *утих, затих, притих* и т. д.). Учитывая, что первый компонент является глухим и твердым перед [у] (ср. I [сум′е́л]), где различается как глухость-звонкость, так и твердость-мягкость, можно считать, что приставка состоит из твердой глухой фонемы, которая стоит во главе фонемного ряда, ряда позиционных чередований сильной фонемы [с] со слабыми фонемами [с′], [з], [з′] (ср. I [сум′е́л], [с′т′и́снул], [здал], [з′д′е́лъл]). А так как при морфофонематической транскрипции одной буквой (а именно буквой сильной фонемы) передается весь фонемный ряд, то слово I [с′т′их] может быть транскрибировано только так: III [ст′их] (ср. в словофонематической транскрипции: II [с$_3$т′их]. Иначе обстоит дело с морфофонематической транскрипцией слова I [с′т′их] («стихотворная строка»). Здесь сочетание [с′т′] находится внутри одной морфемы. Поэтому общие свойства сочетания нельзя приурочить к отдельным его компонентам: они являются характеристикой сочетания в целом.

Наличие у сочетания общих признаков обозначаем заключением сочетания в фигурные скобки. Над сочетанием цифрами указываются, каковы общие признаки сочетания: цифрой 1 обозначается твердость-мягкость, цифрой 2 — глухость-звонкость, цифрой 3 — твердость-мягкость и глухость-звонкость. Приведенный пример — 1 ([с′т′их] «стихотворная строка») транскрибируется следующим образом: {с′^{3}т′}их.

Общую твердость-мягкость имеют, например, сочетания [сн], [с′н′], [зн], [з′н′], [св], [с′в′], [зв], [з′в′], [сл], [с′л′], [зл], [з′л′]. Дадим несколько слов с этими сочетаниями во всех трех транскрипциях с необходимыми разъяснениями:

I [сноп], [сна], [с′н′а̇л], [с′н′о̇с], [зноi̯], [клз′н′а̇́] (деепричастие);

II [с$_1$ноп], [с$_1$на], [с$_1$н′ӓ́л], [с$_1$н′ос], [з$_1$нoi̯], [каз$_1$н′ӓ́];
III [{с^{1}н}оп], [сна] (ср. I [со́н̄ъi̯]), [{с′^{1}н′}ал], [сн′ос] (ср. I [сум′е́л]); [{з^{1}н}оj], [ка{з′^{1}н′}а́].

Из этих примеров видно, что наличие так называемого беглого гласного между компонентами (ср. «сна», «сонный») создает такие же условия как принадлежность их к разным морфемам, т. е. дает возможность решить вопрос о том, в какой мере свойства сочетания можно отнести к отдельным его компонентам.

I [слон]; [с′л′ȯс], [с′л′ȯк], [зло], [л′ё́з′л′и];
II [с$_1$лон], [с$_1$л′ос$_2$], [с$_1$л′ок$_2$], [з$_1$ло], [л$_1$е́з$_1$л′и];
III [{с^{1}л}он], [{с′^{1}л′}оз], [сл′ог], [зло] (ср. зол), [л$_1$е́зл′и] (ср. III [л$_1$ез]).

На конце слова различается твердость-мягкость: ср. I [л′ес] и [л′êс′] (III [л$_1$ез] и [л$_1$ез′]). Поэтому мягкость сочетания [з′л′] в I [л′ё́з′л′и] есть результат позиционной мягкости [з] перед [л′], а не признак сочетания в целом.

I [сват], [свӧ́д′ит], [с′в′ȧт], [с′в′ȯл], [звон], [з′в′ȧк[;
II [с$_1$ват$_2$], [с$_1$во́д′ит$_2$], [с$_1$в′ат$_2$], [с$_1$в′ол], [з$_1$вон], [з$_1$в′ак];
III [{с^{1}в}ат], [свод′и́т$_2$], [{с′^{1}в′}ат], [св′ол], [{з^{1}в}он], [{з′^{1}в′}ак].[6])

Общую глухость-звонкость имеют, например сочетания [кт], [гд], [гз], [кс], [жд], [ск], [зг], [пт], [бд].

Приведем несколько примеров во всех трех транскрипциях.

I [кто], [д′ир′е́ктър], [гд′е], [инʌгда́];
II [к$_2$то], [д′ир$_1$е́к$_2$тαр], [к$_2$д$_1$е], [инαк$_2$да́];
III [{к^{2}т}о], [д′ир$_1$е{к^{2}т}αр], [{г^{2}д$_1$}е], [инα{г^{2}д}а́].

В случае I [гд′е] звонкость является признаком сочетания (она показана фигурными скобками и цифрой 2 над буквами сочетания), а мягкость является признаком второго компонента сочетания и при том признаком позиционным (это показано цифрой 1 справа ниже буквы *д* внутри фигурных скобок).

I [та́ксъ], [вʌгза́л], [м′е́жду], [врʌжда́];
II [так$_2$сα], [вαк$_2$за́л], [м$_1$еш$_2$ду], [врαш$_2$да́];
III [та{к^{2}с}а], [вα{г^{2}з}а́л], [м$_1$е́{ж^{2}д}у], [вражда́].

Обратим внимание, что звонкость в случае «вражда» является признаком каждого в отдельности компонента сочетания [жд], а в случае «между» является признаком сочетания в целом. Это объясняется тем, что в первом случае сочетание [жд] находится на стыке морфем (ср. I [вра́жъскъi̯]), а во втором — внутри одной морфемы.

---

[6]) Согласные [с], [з] перед губными не в начале слова различают твердость-мягкость. Ср. I [п′ис′мо́], [вʌз′му́], [вʌс′мо́i̯], [кл′ӓ́з′мъ] («Клязьма»), [в′ӓ́з′мъ] («Вязьма»), [лы́˙с′въ] («Лысьва»).

I [скот], [тʌска́], [мʌзг′и́], [лʌпта́], [бд′êт′];
II [с$_2$кот$_2$], [тαс$_2$ка́], [мαс$_2$ги́], [лαп$_2$та́], [п$_2$д$_1$êт′$_2$];
III [{с^{2}к}от], [тα{с^{2}к}а́], [мо{з^{2}г}и́], [лα{п^{2}т}а́], [{бд}$_1$е́т′$_2$].

Общие твердость-мягкость и глухость-звонкость имеют, например, сочетания [ст], [с′т′], [зд], [з′д′].

Приведем примеры:

I [стон], [с′т′о̋клъ], [зда̋н′иi̯ъ], гвʌз′д′о̋м];
II [с$_3$тон], [с$_3$т′о́клα], [с$_3$да́н′иjα], [гвαс$_3$д′о́м];
III [{с^{3}т}он], [{с′^{3}т′}окла], [{з^{3}д}а́н′иjo], [гво{з′^{3}д′}ом].

Указанные общие признаки сочетаний, как и признаки отдельных фонем, могут быть самостоятельными, фонематическими в одних позициях и несамостоятельными, позиционными — в других. Позиции эти те же, что и для отдельных фонем. Позиционность общих признаков сочетания в одних случаях имеет место в словоформе, т. е. в данном слове, в его данной форме, но в морфеме отсутствует. Например, в слове I [дрост] глухость сочетания [ст], являющаяся его общим признаком, позиционна, но в корневой морфеме — самостоятельна (ср. I [дрʌзда́]). Эти случаи в морфофонематической транскрипции обозначаются по сильной позиции: III [дро{з^{3}д}]. В других случаях позиционность имеет место как в данном слове в его данной форме, так и в морфеме. Ср., например, I [с′н′ек], где мягкость является общим признаком сочетания как в слове, так и в корневой морфеме. Позиционность (и «непрояснимость») общих признаков сочетаний не только в слове, но и в морфеме в морфофонетической транскрипции обозначаем цифрами 1 (при позиционности твердости-мягкости), 2 (при позиционности глухости-звонкости), 3 (при позиционности как твердости-мягкости, так и глухости-звонкости) после фигурных скобок справа ниже строки.

Приведем несколько примеров.

I [с′н′ек], II [с$_1$н$_1$ек$_2$], III [{с′^{1}н′}$_1$ег]. Мягкость как общий признак сочетания обозначена цифрой 1 над буквами согласных, но перед [е] она позиционна; это обозначено цифрой 1 после фигурных скобок. Ср. III [{с^{1}н}оп] и [{с′^{1}н′}ос], где твердость и мягкость сочетания перед [о] различается.

I [с′в′ет], II [с$_1$в$_1$ет$_2$], III [{с′^{1}в′}$_1$ет]. Ср. III [{с′^{1}в′}окла] и [{с^{1}в}oj], где твердость-мягкость сочетания перед [о] различается.

I [с′т′êп′], II [с$_3$т$_1$еп′$_2$], III [{с′^{3}т′}$_1$еп′];

I [з′д′êс′], II [с$_3$д$_1$ес′$_2$], III [{з′^{3}д′}$_1$ес′$_2$].

В случаях «степь» и «здесь» общими сочетаниями являются как твердость-мягкость, так и глухость-звонкость, что и обозначено цифрой 3 над буквами сочетания. Однако глухость-звонкость в них самостоятельна (это видно из данных же слов), а твердость-мягкость обусловлена: перед [е] произносятся только мягкие. Позиционность этого признака обозначена цифрой 1 после фигурных скобок справа ниже строки.

Иллюстрируем вопрос о позиционности и самостоятельности общих признаков сочетаний еще несколькими примерами. Слова «грусть» и «груздь» транскрибируем следующим образом: фонетическая и словофонематическая транскрипция их одинаковы I [гру́с′т′], II [грус$_3$т′$_2$] — на конце слова твердость-мягкость различается (поэтому поставлен знак мягкость), но глухость-звонкость не различается — звучит только глухой (это обозначено цифрой 2): т′$_2$. Перед [т′] не различается ни твердость-мягкость, ни глухость-звонкость предшествующего согласного. Поэтому употреблена буква с (буква глухого без указания на мягкость) с цифрой *3*: с$_3$. В морфофонематической транскрипции эти слова будут выглядеть по-разному« III [гру{с′^{3}т′}] и [гру{з′^{3}д′}]. В корневых морфемах этих слов (составляющих форму им. п. ед. ч.) твердость-мягкость и глухость-звонкость сочетания самостоятельны: [гру{с′^{3}т′}а́], [гру{з′^{3}д′}а́]; ср. [у{с^{3}т}а́], [у{з^{3}д}а́]. Поэтому в первом из них можно констатировать мягкое и глухое сочетание, а во-втором мягкое и звонкое.

Слова «съест», «съезд» и «мест» (род. п. мн. ч.) в фонематической, словофонематической и морфофонематической транскрипциях имеют следующий вид:

I [с′jест] («съест» и «съезд»), [м′ест];
II [с$_1$jес$_3$т$_2$] («съест» и «съезд»), [м$_1$ес$_3$т$_2$];
III [сjе{с^{3}т}$_2$], [сjе{з^{3}д}], [м$_1$е{с^{3}т}].

В корневых морфемах слов «съезд» и «мест» мы констатируем самостоятельность общих признаков сочетания глухость-звонкость и твердости и мягкости, что и находить свое отражение в надписаниях *зд* и *ст*. В слове же «съест» (3 л. ед. ч.) твердость-мягкость самостоятельны: ср. I [с′jест] и I [с′jêс′т′] (инфинитив). Что же касается глухости-звонкости, то она не прояснима, поскольку конечный согласный употреблен в составе флексии, которая не может быть в сильной для глухости-звонкости позиции. Позиционность глухости-звонкости сочетания обозначена цифрой 2 после фигурных скобок.

7.

В связи с тем, что морфофонематическая транскрипция исходит из морфемы, а в морфеме могут быть такие фонемы, которые в силу позиционных условий отсутствуют в том или ином конкретном слове с этой морфемой, эта транскрипция может отличаться от двух других наличием знаков для фонем, реально отсутствующих в слове, но присутствующих в морфеме. Так, например, в слове «местный» отсутствует фонема [т], но в корневой морфеме этого слова фонема [т] наличествует: она представлена нулем звука, т. е. ее реальное отсутствие позиционно, обусловленно положением перед [н]. Поскольку задачей морфофонематической транскрипции является — представить звуковую оболочку морфем, осво-

божденной от всех фонетических, позиционных изменений, естественно, что позиционно отсутствующие в слове фонемы при такой транскрипции обозначаются, так как они являются нулевым вариантом соответствующих фонем.

Приведем несколько слов во всех трех транскрипциях.

I [м′е́снъі̯], [гру́снъі̯], [з′в′ӧ́знъі̯];
II [м₁е́с₁нαj], [гру́с₁нαj], [з₁в′ӧ́з₁нαj];
III [м₁е{с³т}ноj], [гру{с′³т′}ноj], [{з′¹в′} о{з³д}ноj].

Словофонематическая транскрипция (II) учитывает, что [с] и [з] перед [н] не различают твердости-мягкости, что и обозначено цифрой 1. Морфофонематическая транскрипция указывает на наличие в корневой морфеме этих слов сочетаний [ст], [с′т′], [зд], второй компонент которых позиционно отсутствует. (Ср. I [м′е́стъ]; [гру́с′т′], [грус′т′и́л], [грус′т′а̄́], [з′в′иᵉзда́]. Эти сочетания обладают общей глухостью-звонкостью и твердостью-мягкостью (что обозначено цифрой 3 над буквами сочетаний). При этом глухость-звонкость их самостоятельна (это видно из слов I [м′е́снъі̯], [з′в′ӧ́знъі̯]). Что же касается их твердости-мягкости, то она позиционна: перед [н] произносятся только твердое [с], [з] и [т], [д], так как мягкие отвердевают и совпадают с твердыми: ср. I [м′е́стъ] - [м′е́снъі̯], [з′в′иᵉзда́] - [з′в′ӧ́знъі̯] и [гру́с′т′] - [гру́снъі̯].

Слово «завистливый» транскрибируем следующим образом: I [зʌв′и́с′л′ивъі̯]; II [зαв′и́с₁ливαj]; III [зав′и{с′³т′}л′ивоj]. Морфофонематическая транскрипция здесь указывает на то, что непроизводная основа кончается сочетанием [с′т′], второй компонент которого позиционно отсутствует и которое характеризуется общей мягкостью (ср. I [сӧ́в′ъс′т′]) и общей глухостью (ср. I [сӧ́в′ъс′т′и]). Общие признаки сочетания обозначены цифрой 3 над буквами сочетания. При этом признак глухости в данном положении самостоятелен, а признак мягкости обусловлен положением перед [л′].

Слова «сердце» и «солнце» транскрибируются следующим образом: I [с′е́рцъ]; II [с₁е́р₁цα]; III [с₁е́р₁д₁цо]. В словофонематической транскрипции указывается цифрой 1 на то, что [р] перед [ц] не различает твердость-мягкость. То же указывается в морфофонематической транскрипции. В последней кроме того указывается наличие в корневой морфеме звонкой взрывной губной фонемы, которая позиционно (в положении между [р] и [ц]) отсутствует, представлена нулем звука. Глухость-звонкость и твердость-мягкость этой фонемы в положении перед [ц] в слове позиционны, однако в морфеме глухость-звонкость самостоятельна, непрояснима только твердость-мягкость (ср. I [с′иᵉрд′е̄́ч′нъі̯]), так как представлено только положение перед [е], в связи с чем у буквы *д* поставлена цифра 1.

В свете сказанного думается, что орфографические написания слов *жестче, хлестче, бороздчатый* правильно отражают состав фонем в корневой морфеме. Ср. I [жӧ́ш̄′иᵉ] или [жӧ́ш′ч′иᵉ], [хл′ӧ́ш̄′иᵉ] или [хл′ӧ́ш′ч′иᵉ],

[бʌрṓш̅′ьтъи̯] или [бʌрṓш̅′ч′ьтъи̯]; II [жо́ш̅′є] или [жо́ш′ч′є], [хл′о́ш̅′є] или [хл′о́ш′ч′є], [баро́ш̅′атај] или [баро́ш′ч′атај]; III [жо́{с^{3}т}че], [хл′о{с^{3}т}че], [боро́{з^{3}д}ч′атој]. Эти слова имеют глухие или звонкие твердые сочетания [ст], [зд], у которых перед [ч′] становятся непроизносимыми конечные взрывные [т], [д], т. е. выступают нулевые варианты этих фонем; [с] и [з] твердые перед [ч] произносятся как мягкие и глухие, причем кроме того перед [ч] приобретают шипящий характер: получается сочетание [ш′ч′], которое в современном русском литературном языке может также произноситься без взрывного элемента, т. е. как [ш′ч′], иначе [ш̅′]. Таким образом, все изменения носят позиционный характер и не затрагивают состава фонем в корневых морфемах разобранных слов.

8.

В заключение приведем небольшой **о т р ы в о к   в   о р ф о г р а ф и ч е с к о й   з а п и с и   и   в   т р е х   в и д а х** научно-лингвистической транскрипции:

На другой день весть о пожаре разнеслась

<table>
<tr><td></td><td>На другой</td><td>день</td><td>весть</td><td>о пожаре</td><td>разнеслась</td></tr>
<tr><td>I</td><td>нъдруго́и̯</td><td>д′ѐн′ |</td><td>в′ѐс′т′</td><td>ʌпʌжӓр′и^{е} |</td><td>ръз′н′и^{е}сла́с</td></tr>
<tr><td>II</td><td>на$д_1$руго́ј</td><td>$д_1$е́н′ |</td><td>$в_1$е́$с_3$т′$_2$</td><td>апажа́$р_1$ε |</td><td>ръ$з_1$н′а$с_1$ла$с_2$</td></tr>
<tr><td>III</td><td>на $д_1$руго́ј</td><td>$д_1$е́н′</td><td>$в_1$е́{с′^{3}т′}</td><td>апажа́ре |</td><td>розн′осла́с</td></tr>
<tr><td></td><td>по всему</td><td>околотку.</td><td>Все</td><td>толковали</td><td>о нем</td></tr>
<tr><td>I</td><td>пъфс′и^{е}му́</td><td>ʌкʌло́тку ||</td><td>фс′е́</td><td>тълкʌвӓл′и</td><td>ʌн′ӧм</td></tr>
<tr><td>II</td><td>па$ф_3$с′аму́</td><td>акало́$т_2$ку ||</td><td>$ф_3$$с_1$е́</td><td>талкава́л′и</td><td>ан′о́м</td></tr>
<tr><td>III</td><td>по$в_1$с′ому́</td><td>акало́дку ||</td><td>$в_1$с′е</td><td>толкова́л′и</td><td>ан′о́м</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>с различными</td><td>догадками</td><td>и предположениями.</td></tr>
<tr><td>I</td><td>срʌз′л′и́ч′ным′и</td><td>дʌга́ткъм′и</td><td>ипр′ьтпълʌжӭн′ии̯ъм′и.</td></tr>
<tr><td>II</td><td>$с_1$ра$з_1$л′и́ч′ним′и</td><td>дага$т_2$кам′и</td><td>и$п_1$р′а$т_2$палаже́н′ијам′и.</td></tr>
<tr><td>III</td><td>сра{з′^{1}л′}и́ч′ним′и</td><td>дага́дкам′и</td><td>и$п_1$р′адпаложе́н′ијам′и.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>Иные</td><td>уверяли,</td><td>что люди</td><td>Дубровского,</td></tr>
<tr><td>I</td><td>ины́и̯и</td><td>ув′и^{е}р′ӓл′и |</td><td>штъл′ӱд′и</td><td>дубро́фскъвъ |</td></tr>
<tr><td>II</td><td>ини́ји</td><td>ув′ар′а́л′и |</td><td>$ш_2$тал′у́д′и</td><td>ду$б_1$ро́$ф_3$$с_2$кава |</td></tr>
<tr><td>III</td><td>иниjи</td><td>у$в_1$ер′а́л′и |</td><td>{ш^{2}т}о л′у́д′и</td><td>ду$б_1$ро$ф_3${с^{2}к}ово |</td></tr>
<tr><td></td><td>напившись</td><td>пьяны</td><td>на похоронах,</td><td>зажгли</td></tr>
<tr><td>I</td><td>нʌп′и́фшыс</td><td>п′јӓны</td><td>нъпъхърʌна́х |</td><td>зʌжгл′и́</td></tr>
<tr><td>II</td><td>нап′и́$ф_3$ши$с_2$</td><td>$п_1$ја́ни</td><td>напахарʌна́х |</td><td>за$ж_2$гл′и́</td></tr>
<tr><td>III</td><td>нап′и́$ф_2$шис</td><td>$п_1$ја́ни</td><td>на похорона́х |</td><td>зажгл′и</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>дом</td><td>из неосторожности,</td><td>другие</td><td>обвиняли</td></tr>
<tr><td>I</td><td>дом</td><td>из′н′ьʌстʌрóжнъс′т′и |</td><td>друг′и́и̯и</td><td>ʌб′в′ин′ӓ́л′и</td></tr>
<tr><td>II</td><td>дом</td><td>из$_1$ н′ααс$_3$тαрóжнαс$_3$т′и |</td><td>д$_1$руг′и́ји</td><td>αбв′ин′áл′и</td></tr>
<tr><td>III</td><td>дом</td><td>из н$_1$еα{с^{3}т}αрóжнα{с′^{3}т′}и |</td><td>д$_1$руг′ији</td><td>обв′ин′áл′и</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>приказных,</td><td>подгулявших</td><td>на новоселии,</td></tr>
<tr><td>I</td><td>пр′икáзных |</td><td>пъдгул′ӓ́фшых</td><td>нънъвʌс′ё́л′ии |</td></tr>
<tr><td>II</td><td>п$_1$р′икáз$_1$них |</td><td>пαд$_2$гул′áф$_3$ших</td><td>нαнαвαс$_1$ел′ии |</td></tr>
<tr><td>III</td><td>п$_1$р′икáзних |</td><td>подгул′аф$_2$ших</td><td>на новαс$_1$éл′ии |</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>многие</td><td>уверяли,</td><td>что он</td><td>сам</td><td>сгорел</td><td>с земским</td></tr>
<tr><td>I</td><td>мнóг′ии</td><td>ув′и^{е}р′ӓ́л′и |</td><td>штъо̀н</td><td>сáм</td><td>згʌр′éл |</td><td>з̄′éмск′им</td></tr>
<tr><td>II</td><td>м$_1$нóгији</td><td>ув′αр′áл′и |</td><td>штαо̀н</td><td>сáм</td><td>с$_3$гαр$_1$éл |</td><td>з$_3$з$_1$éм$_1$с$_2$ким</td></tr>
<tr><td>III</td><td>м$_1$нóгији</td><td>ув$_1$ер′áл′и |</td><td>што о̀н</td><td>сáм</td><td>сгαр$_1$éл |</td><td>с з$_1$ем$_1${с^{2}к}им</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>судом</td><td>и со всеми</td><td>дворовыми.</td><td>Некоторые</td></tr>
<tr><td>I</td><td>судóм</td><td>исʌфс′ё́м′и</td><td>двʌрóвым′и ||</td><td>н′éкътъры̯и</td></tr>
<tr><td>II</td><td>судóм</td><td>исαф$_3$с$_1$éм′и</td><td>д$_1$вαрóвим′и ||</td><td>н$_1$éкαтαрији</td></tr>
<tr><td>III</td><td>судóм</td><td>и со в$_1$с′éм′и</td><td>{д^{1}в}орóвим′и ||</td><td>н$_1$éкαторији</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>догадывались</td><td>об истине</td><td>и утверждали,</td></tr>
<tr><td>I</td><td>дʌгáдъвъл′ис</td><td>ʌбы́с′т′ин′и^е |</td><td>иут′в′и^{е}рждâл′и |</td></tr>
<tr><td>II</td><td>дαгáдαвαл′ис</td><td>αби́с$_3$т′ин$_1$ε</td><td>иут$_1$в′αр$_1$ж$_2$дáл′и |</td></tr>
<tr><td>III</td><td>дαгáдαвαл′ис</td><td>αб и́{с′^{3}т′}ине</td><td>и у{т′^{1}в′}ор$_1$ {ж^{2}д}áл′и |</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>что виновником</td><td>сего</td><td>ужасного</td><td>бедствия</td></tr>
<tr><td>I</td><td>штъв′инóвн′икъм</td><td>с′и^{е}во̀</td><td>ужáснъвъ</td><td>б′ё́ц′с′т′в′и̯ъ |</td></tr>
<tr><td>II</td><td>ш$_2$тα в′инóвн′икαм</td><td>с′αво̀</td><td>ужáс$_1$нαвα</td><td>б$_1$éт$_3$с$_3$т$_1$в′ијα |</td></tr>
<tr><td>III</td><td>ш$_2$то в′инóвн′иком</td><td>с′ово̀</td><td>ужáсново</td><td>б$_1$ед{с′^{3}т′}в′ијα |</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>был</td><td>сам</td><td>Дубровский,</td><td>движимый</td><td>злобой</td><td>и отчаянием.</td></tr>
<tr><td>I</td><td>бы̀л</td><td>сáм</td><td>дубрóфскъи̯ |</td><td>д′в′и́жымъи̯</td><td>злóбъи̯</td><td>иʌч̄′ӓ́и̯ьн′ии̯ъм ||</td></tr>
<tr><td>II</td><td>бѝл</td><td>сáм</td><td>дуб$_1$рóф$_3$скαј |</td><td>д$_1$в′и́жимαј</td><td>з$_1$лóбαи̯</td><td>иαт$_3$ч′áјαн′ијαм ||</td></tr>
<tr><td>III</td><td>бѝл</td><td>сáм</td><td>дуб$_1$роф$_3${с^{2}к}ој |</td><td>{д′^{1}в′}и́жимој</td><td>злóбој</td><td>иαт$_3$ч′áјαн′ијом ||</td></tr>
</table>

При анализе этих записей сравнительно с орфографическим письмом следует иметь в виду характер русской графики, для которой особенно важны следуючие особенности:

1. передачу фонематической твердости-мягкости согласных перед гласными буквами гласных: *а - я, у - ю, о - ё* (под ударением иногда над е ставятся две точки), *ы - и*; ср. *мал-мял, лук-люк, нос-нес* (или *нёс*), *был-бил*;

2. передачу фонематической твердости-мягкости на конце слова и перед согласными буквой *ь*; ср. *конь, кровь; горько, редька;*

3. необозначение позиционной мягкости перед [е] (ср. *сел, мел*) и перед мягкими согласными (ср. *ветви, свет, снег*);

4. отсутствие особой одной буквы для фонемы [j] и обозначение этой фонемы перед гласными [а], [у], [о], [е] буквами *я, ю, е* (или ё) для [о] и *е* для [е] (ср. *я, юг, елка [или ёлка] ель*); обозначение той же фонемы в положении после гласных (на конце слова и перед согласными) буквой *й* (ср. *чай, мойка*); отсутствие обозначения перед [и] фонемы [j], которая в этой позиции является факультативной: ср. *их* (произносится [их] и [jих], *мой* произносится [мʌй́] и [мʌjй́]).

Если учесть эти характерные особенности русской графики, то окажется, что морфофонематическая транскрипция чрезвычайно близка к обычному орфографическому письму. Последнее по существу представляет собой такое письмо, где букве сильной фонемы соответствует весь фонемный ряд, возглавляемый этой сильной фонемой (ср. «толковали» и III [толкова́л′и], «на похоронах» и III [на похорона́х]). Как и при морфофонематической транскрипции, орфографическое письмо передает внутриморфемные сочетания согласных, имеющие общие для всего сочетания признаки, как единое и нечленимое целое по общим для сочетания признакам. Ср. весть и III [ве{с′^{3}т′}]: глухость сочетания обозначена буквами *ст* (ср. на стыке морфем — просторечные *весть* от *веду* и *везть* от *везу*), а мягкость сочетания — буквой *ь* на конце его. Те же качества, но иными способами обозначены в морфофонематической транскрипции. Или ср. «неосторожности» и III [н$_1$еα{с^{3}т}αро́жнα{с′^{3}т′и}], где глухость сочетания обозначена буквами *ст*, а его твердость в первом случае и мягкость во втором случае — буквами последующих гласных *о* и *и*. Те же качества, но иными способами обозначены и в морфофонематической транскрипции. В случае «земским» (III [з$_1$е́м$_1${с^{2}к}им]) глухость как общее качество сочетания передана буквами *ск* (ср. на стыке морфем «низкий» и «ноский»).

Основное отличие морфофонематической транскрипции от орфографического письма заключается в том, что в ней сохраняется довольно большое количество написаний по слабым «непрояснимым» фонемам, т. е. таким фонемам, которые не могут оказаться в сильной позиции в данной морфеме и потому не могут быть отнесены к одному единственному фонемному ряду.[7]) Орфография в этих случаях обычно пользуется этимологическим письмом. Приведем некоторые из этих написаний. Ср. «о пожаре» и III [αпαжа́ре], «о нем» и III [αн′ом], «догадками» и III [дαга́дкам′и], «предположениями» и III [п$_1$р′αдпαложе́н′иjам′и], «на новоселии» и III [на новαс$_1$е́л′ии], «сгорел» и III [сгαр$_1$е́л], «некоторые» и III [н$_1$е́кαториjи], «догадывались» и III [дαга́дαвαл′ис], «об истине» и III [αб и́{с′^{3}т′}ине], «отчаянием» и III [αтч′а́jан′иjом].

7) Следует иметь ввиду, что слабая фонема в слове является всегда заместителем двух или нескольких сильных фонем в морфеме.

Наличие буквы *о* в орфографическом письме при [α], в морфофонематической транскрипции свидетельствует о неполной закономерности отношений между написанием и произношением в нашей орфографии, об известной их условности: слабая фонема [α] является в морфеме заместителем сильных фонем [о] и [а]. Следовательно, в приведенных случаях с точки зрения звуковой системы современного языка с равными основаниями могла бы употребляться как буква *о*, так и буква *а*. Однако в них пишется буква *о* в соответствии с этимологией этих слов, освященной традицией письма. Однако эти написания не полностью условны (условен только выбор между буквами *о* и *а*): наличие именно одной из двух гласных букв *о* или *а*, но не любой другой закономерно и соответствует звуковой системе современного русского языка. Буква *е* (после *р*) в соответствии со слабой гласной фонемой [α] в слове «предположениями» и буква *я* в соответствии с той же слабой фонемой [α] в непосредственно заударном слоге в слове «отчаянием» также свидетельствует о неполной закономерности соотношений между правописанием и звуковой системой языка: в положении после мягких согласных слабая фонема [α] является в морфеме заместителем одной из трех сильных фонем [е], [о], [а] (первые две, как известно, в русском правописании обычно обозначаются одной буквой (ср. написание *сел*, которое может читаться как I [с′ел] и [с′ол]). Поэтому в указанных случаях с равными основаниями вместе *е* могло бы писаться *я*, а вместо *я* — *е*. Употребление в первом случае *е*, а во втором — *я* условно с точки зрения звуковой системы современного русского языка. Однако наличие именно одной из этих букв, а не других (*и*, *ю*) закономерно и соответствует звуковой системе.

В приведенных случаях безударные гласные обозначены в орфографическом письме в соответствии с этимологией. В других, более редких случаях, они пишутся вопреки этимологии, но в тех рамках, которые допускают соответствующие слабые гласные фонемы. Таково употребление буквы *а* после *р* в слове «разнеслось». Как известно, с этимологической точки зрения здесь [о]. С морфофонематической точки зрения здесь также [о]: ср. в этой приставке под ударением — «ро́ссказни», «ро́звальни», «ро́спись» и др. Однако благодаря церковнославянской традиции укрепилось написание этой приставки с буквой *а*. Написание это получило и известную фонетическую поддержку: приставка эта обычно безударна, при чем в 1-м предударном слоге произносится [ʌ] (ср. I [рʌз′н′о̆с]).

Аналогичное явление в области согласных представляют написания «напившись», «подгулявших» с буквой *в* (ср. III [нап′и́ф$_2$шыс], [подгул′а́ф$_2$ших]). Фонетическая твердость соответствующей фонемы здесь устанавливается по формам I [вы́п′иф], [пъдгул′ӑф], но глухость-звонкость ее непрояснима, так как конечный согласный (суффикс «-*в*-») не может оказаться перед гласной или перед другим звуком, где разли-

чается фонематическая глухость-звонкость.[8]) Отсюда следует, что выбор между буквами *в* и *ф* в разбираемых случаях условен и употребление буквы *в* в них объясняется лишь историей языка. Однако наличие одной из этих букв, а не других, вытекает из звуковой системы языка.

Слабые по твердости-мягкости согласные фонемы обозначаются буквами соответствующих согласных без указания на твердость или мягкость (вне зависимости от реальной твердости или мягкости). Ср. написания: *д*ругие, *п*риказных, *м*ногие, *д*вижимые, *в*есть, *в*се и др.

Другим отличием русского правописания от морфофонематической транскрипции является наличие в нем написаний, полностью незакономерных с точки зрения звуковой системы современного языка, полностью условных. Это то, что принято называть этимологическими написаниями.

Таково употребление буквы *г* в окончаниях слов «Дубровско*г*о», «ужасно*г*о» (произносится согласная [в], которая не находится ни в каких закономерных отношениях с фонемой [г], употребление буквы *ч* в слове «что» (произносится согласная [ш], которая в современном языке позиционно не связана с [ч′]: ср. I [што] и [ч′ту], [по́ч′тъ] — т. е. перед [т] фонемы [ш] и [ч′] различаются); употребление буквы *ы* в слове «догадывались» (произносится гласная [ъ], которая может быть заместителем сильных фонем [о] и [а], но не [ы].[9])

Сложно обстоит с произношением конечного безударного гласного в форме им. п. мн. ч. прилагательных. В нашем тексте это следующие случаи: «иные», «другие», «многие», «некоторые». Сложность проистекает прежде всего от того, что в современном русском литературном произношении представлено несколько вариантов — с [jи], [jь] и [е] — обра́зными звуками, с [ъ] и [а] — образными звуками, при чем перед [и] звук [j] может быть мало заметен и даже отсутствовать (I [ины́и], [ины́jь] и близко к [ины́jе], [ины́jъ] и близко к [ины́jа]. Отметим только, что при произношении с конечным гласным [и] написание «иные» и др. с буквой *е* на конце следует считать этимологическим, если считать, что в конечном открытом слоге после [j] нелабиализованные гласные верхнего подъема и неверхнего подъема различаются: [и] - [ь] - [ъ]. Ср. I [з′м′е̂и] или [з′м′е̂jи] (им. п. мн. ч.), [ʌз′м′е̂jь] (предл. п.),[10]) [з′м′е̂jъ]. Гласному [и] при этих отношениях закономерно должна бы соответствовать буква *и*.

---

[8]) Случаи вроде «служивый» не являются живыми образованиями и потому не могут свидетельствовать о морфофонематической звонкости губного фрикативного согласного в суффиксе деепричастия.

[9]) Правда, надо отметить, что гласные [ъ] и [ы] в заударном неконечном слоге противопоставлены очень слабо. Это противопоставление достаточно четко лишь в отчетливой, чеканной речи.

[10]) В беглой речи пр. п. ед. ч. может практически не отличаться от им. п. мн. ч.: [ʌз′м′е́и].

Наконец, особый тип этимологических написаний представляют написания возвратных глаголов на *-сь*, если исходить из старой нормы произношения этих форм с твердым [с] на конце.[11]) Это случаи: «разнеслось», «догадывались», «напившись»: ср. написание и произношение «взялась — I [вз'иᵉла́с], с одной стороны, и «ос» — [ос], «ось» — [ос'], с другой. Однако здесь нет той полной условности написания буквы согласного, которую мы видели в написании окончания *-ого (-его):* фонема [с] находится в ближайших отношениях к фонеме [с'], обозначение которой принято в правописание, но фонема [в] не находится ни в каких отношениях к фонеме [г], буква которой пишется в окончании *-ого (-его).*

Изложенные выше соображения показывают, что вопрос о типах научно-лингвистических транскрипций, с одной стороны, опирается на теоретические проблемы фонологии (иначе теории фонем), а с другой, тесно связан с сугубо практическими вопросами правописания. Научно-лингвистическая транскрипция разных типов является квинтэссенцией теоретического изучения звуковой системы языка в ее разных аспектах, разных ее связях со структурой языка. Она наглядно демонстрирует результаты теоретического изучения звуковой системы языка. Вместе с тем она позволяет теоретически осмыслить систему современного правописания в его отношении к звуковой системе языка. Она позволяет с научной точки зрения оценить современное правописание, его целесообразность и его недостатки; она позволяет научно обоснованно рационализировать правописание, унифицировать и упорядочить при наличий колебаний в написаниях, реформировать правописание, если в этом есть надобность. Наконец, теоретическое изучение звуковой системы и его итоги, выраженные в транскрипциях, позволяют создавать новые правописания для ранее бесписьменных языков.

Все это свидетельствует о большом практическом значении такой чисто теоретической науки как фонология, или теория фонем.

Автор не претендует на то, что в своем изложении он исчерпал вопрос о научно-лингвистических транскрипциях в связи с проблемами теории фонем. Он не считает также, что его решения рассматриваемых проблем окончательны. Высказанные выше положения характеризуют не столько окончательные результаты исследования, сколько один из его этапов. Автор лишь наметил пути своего исследования и предполагает еще многое доработать и уточнить. Он надеется, что обсуждение положений, выдвинутых в этой статье, поможет ему в дальнейшей разработке проблемы.

Р. И. Аванесов (Москва)

[11]) В настоящее время, главным образом, под влиянием правописания едва ли не господствующим стало произношение с мягким [с] на конце.

Новооткрити кирилски пергаментни листове от XII–XIII в.

Кирил Мирчев (София)

По време на едно кратко пребиваване в Охрид през лятото на 1943 година имах щастливата случайност да попадна на два пергаментни листа, които наскоро са били постъпили в новооснования скромен местен музей. Листовете, нито описани, нито каталогизувани, още лежаха в един сандък, пълен с разни други дребулии. Както ми бе обяснено, те са били намерени някъде в околностите на Охрид. Били са страшно замърсени. В музея се опитали да ги очистят, но доста невнимателно, поради което писмото на ръкописа бе пострадало още повече.

Още при пръв поглед писмото на листовете издаваше своя архаичен характер с явни белези от българска редакция. Прочитането на текста не бе възможно да стане набързо и на самото място. Ето защо можат лесно да получа разрешение да взема пергаментните листове със себе си и да се опитам да ги разчета по някакъв начин в София.

Разчитането струваше доста труд и усилия. Оказа се най-после, че пергаментните листове представят откъси от *Цветен триод*, и то от седмицата на самарянката, и с всички свои палеографски белези се отнасят към XII в. или най-късно към началото на XIII в. Те стоят в близка връзка с най-старинния български превод на Цветния триод запазен в ръкопис от XII в. в Ленинградската публична библиотека, кратки сведения за който ни даде Н. Туницкий в статията си *О тексте болгарской рукописи Публичной Библиотеки F. п. I, № 74* (вж. Статьи по славянской филологии и русской словесности. Сборн. отд. русск. яз. и слов. АН СССР, т. 1, № 3, 394—397). С несъвършенствата на своя превод (вж. за това по-долу), както със краткия си състав, очевидно пергаментният ръкопис към който са принадлежали нашите листове, е отразявал особеностите на най-ранния старобългарски превод на Цветния триод, изпълнен според твърденията на Туницки (ц. с.) в края на IX или в началото на X в.

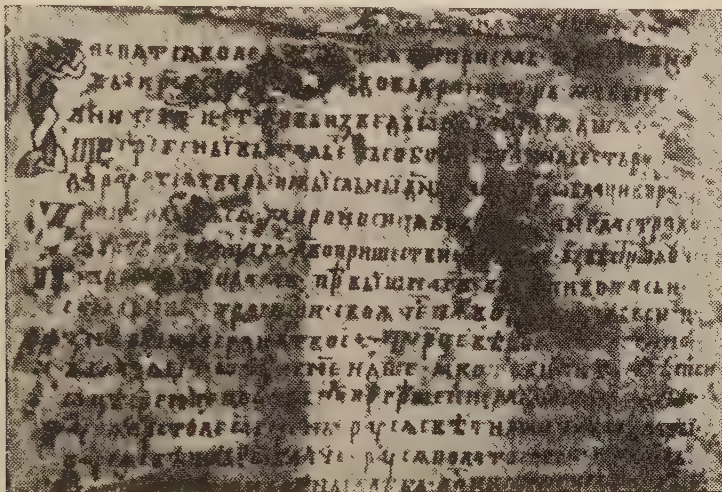
Текст*)

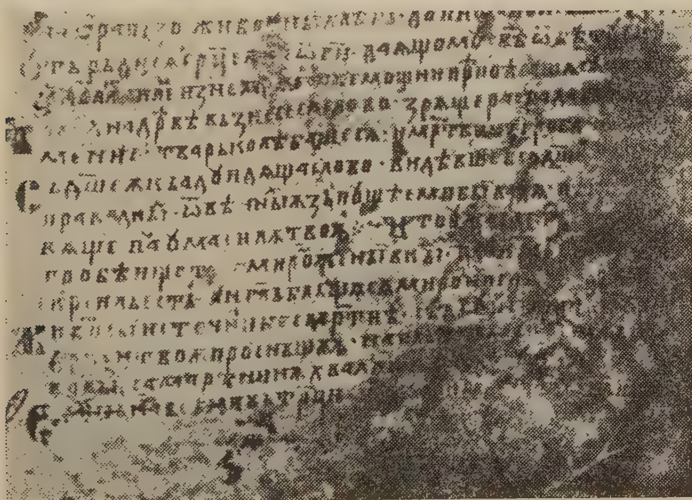
л. Ia

1 Распѧт сѧ волеѫ и плътиѫ въсприемь · тридневно

2 вьс҇крсе ѿ мр҃твыⷯ адовь хранилищь · живоначѧ-

3 личе г҃и · истщивь изведь ѿкованныѭ д҃шѫ ·:·





Лист 1а

*) На мястото на нечетливите букви и изрази, дори когато тяхното възстановяване не представя трудност, са поставяни точки.

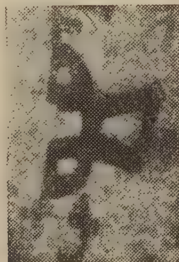
Погребеныи въсталъ ѥ҇с съ собоѫ въставилъ есть ро҇д
да радует сѧ тварь · и мысльныи д҃нь да кропѧ҇т ѡблаци в правдѫ
Зрако҇м бльщѧ сѧ · мироносицѧ видѣвше ан҃гла страхо҇м
ѿ гроба ѡстѫпаха҇т · х҃во пришествие 8вѣдше · ѥзвѣстишѧ 8ченико҇м
Покрываѧ водами · прѣвышна г҃и вода живота сьи ·
самарѣнин. просѧщи · своѫ че҇снѫ водѫ подалъ еси по-
знавши м҇лрдие твое ·:· Тр҃це вѣроѫ тѧ истино-
ѫ славѧща · ѡ҃че и с҃не и д҃ше · ıако твр҃ца и б҃а вс҇хѣ сп҃си ·
ѡцѣщение подаж҇дь на҇м прѣгрѣшениемь прѣб҃лгыи ·:·
Ра҇ду сѧ прѣстоле ѡгнень · ра҇ду сѧ свѣтилниче всезлатыи ·
ра҇ду сѧ свѣтлыи ѡблаче · ра҇ду сѧ полато слова · и мысль-
на трапезо · животныи хлѣбь · до҇снно х҃а понесши ·:· ѡ : г :
Утвръди сѧ ср҃це мое ѡ г҃и · дамщом8 св҇тѣ ѡбѣт8ѧщ8
ıа҇ско лѫ҇к силе҇н изнеможе и немощни прѣпоѣсашѧ сѧ силоѫ ·:·
Волеѫ на дрѣвѣ вьзнесе сѧ слово · зрѧще распадаше сѧ ка-
мение · тварь колебаше сѧ · и м҃ртви из гроба · ıа҇ко ѿ҇т сна вьстахѫ
Съ д҃шеѫ кь ад8 идѫща слово · видѣвше всѧ д҃шѧ
праведны҇х · ѿ вѣчны҇х ѫзь п8щѣеми вьıвахѫ · пѣ҇сносла-
вѧще па҇ч 8ма силѫ твоѫ ·:· Что 8жасаете сѧ что вь
гробѣ ищете миро҇м жены вкы҇д · вьскр҃се и мир......
ск҃рсиль есть · ан҃гль бльщѧ сѧ мироносица҇м г҃лаше
Живо҇т сьи источни҇к бесм҃ртнѣ · сѣдь 8 источника ще-
дре · и твоѫ просившѫѫ · напльнилъ еси прѣмѫдреѫ
воды · самарѣнинѫ хвалѧщѫѫ тѧ ·:·
Единь на҇д всѣми вь т҃рци б҃ь гѫслимыи есть ѿць и сы....

л. I б

и б҃жеи д҃хь его же слава҇т нб҃сни чини ıа҇сно вьпиѧще с҃ть с҃ть с҃ты еси б҃гь ·:·
Не..анно вь чрѣвѣ своемь д҃во м҃ти · вс҇хѣ б҃а и ц҃рѣ · па҇ч 8ма
и слова родила еси · прѣбывши д҃воѫ · ıа҇ко же прѣ҇дже ро҇джьст-

4 ва бг҃оневѣстнаѣ ·:· Сѣ҇ : г҇ : д҃ : Сборище за : нищи : наза҇ : всрѣ
5 пѣ҇ : д҃ : Услиьїша[х] слоу[х] твои и 8боѣх сѧ · раз8мѣ[х] дѣла твоа и диви-
6 х сѧ · ꙗ[е]ко твоѫ хвальї испльни сѧ · всѣ земѣ ·:· ~
7 Н҃бса да веселѧт сѧ и да трьжьств8еть всѣ тварь : вьскрсль
8 есть х҃ь и ꙗ[с]ви сѧ всѣ[м] и прѣмѫдрьїмь апл҇омь ·
9 Пожрьта бьї твоѫ см҃рти сила · х҃рви 8мерш8 · и м҃ртви иже
10 ꙗ[е]ко ѿ чрьтога вьстаниемь ѿ гробь изьїдошѧ
11 Что сѧ плачете ѿ жены · что с миромь ищете бесм҃ртна-
12 го вьсталь есть ꙗ[е]ко же ре[ч] мироносицамь ан҃гль ·:· ~
13 Самарѣнин. вко · просѧщи подаль еси водѫ · разоу[м] дрь-
14 жавьї твоѫ......вь вѣкьї нежѫжеть хвалѧщи ·:·
15 О т҃рце прѣсѫщна....б҃жественьї · слово и д҃ше едине си-
16 ле безначѧлне с҃пси вѣроѫ пожщѫѫ тѧ ·:·
17 Н....азанно зачѧтие законоположни[к] видѣаше древе
18 даниль же горѫ с҃тѫ раз8мѣ.... едина д҃во в҃лце ·:· ѡ҇ : е :
19 .....ѣи ми г҃и св[т]ѣ повелѣн.... ꙗ[с]ко к тебѣ х҃е д҃хь
20 мои 8трьн8ѫ поеть тѧ....к тебѣ прибѣгаѫ ц҃рю мирньї
21 Гро[б] твои с҃тьї постигше мироносицѧ блистаѧ-
22 ща сѧ · и видѣвше юношѫ 8жасошѧ сѧ твое видѣвше
23 ......вьск҃рсение х҃е ·:· См҃рть 8м҃рщвена бьї
24 адь плѣнень бьї · вь ѫза[х] сѫщи свобожьше сѧ х҃вѣмь вьскрь-
25 сение[м] взра[д]уим сѧ и рѫкама вьс... ща[м] празн8ѫще свѣтло ·:· ~





Глаголските букви на палимпсеста.

А҆п҃ли възꙑ̈граите и а҆н҃гли ликꙋите · земни вси възрадꙋите сѧ
г҃ь въскрьсе · тл. изгнана бꙑ̈ⷭ · и скрьбь прѣста · ликꙋеть адаⷨ҃ ·
Источниⷦ҇ еси г҃и живота · вода ѡставениѥ и разоуⷨ дарo-
валь еси женѣ просивши древⷬ҇е · сѣмарѣниги (Sic) сижже
..... емь твоѧ неислѣдимѫ щедротꙑ̈

л. II а

Єдиньство трисьставно единосѫщно : ѡца и слова
д҃ха с҃тго нераздѣлно е.... твоⷨ ц҃а единого чтѫ т҃врца
и б҃а и влкⷣѫ всѣⷯ :· Тѧ дверь непроходимѫ и нивѫ не-
....ланнѫѫ · и ковчегь маннѫ носѧщь · рѫчкѫ и свѣти-
лниⷦ · и кадилницѫ беспльнаго ѫглиѣ · именꙋемь ч҃стаꙗ
:· ѡⷣ҇ : ѕ : Да не погрѫзиⷮ мене бꙋрѣ водна · ни пожреⷮ мене глѫ-
бина · ѿриновень бꙑ̈ⷯ в глѫбинѫ с҃рца морскаго · золь мо...
тѣⷨ вьпиѫ ти ꙗ҆ⷦо иѡна · да взꙑ̈де ѿ тлѧ живоⷮ мои к тебѣ г҃и ·
На крстѣ тѧ безаконни.. пригвоздихѧ · копиемь про-
бодошѧ х҃е иѡсифь же б҃лгоѡбраз.... погрибаеть в но-
вѣⷨ · гробѣ из негоже сь славоѫ вьс҃рсе · вьскрсиль еси
сп҃се всѫ тварь пожща дрьжавѫ твоѫ :· Верѣѧ врата вкⷣо
силно сломиль еси адовꙑ̈ · и вьскрсе ꙗ҆ⷦо б҃ь и срѣть · радꙋите
сѧ р҃екль еси женаⷨ · и тѣма рещи възвѣстить ꙋченикоⷨ
ꙗ҆ⷦо вьста живоⷮ · и видѣнь бꙑ̈ⷭ просвѣщаѫ всѣ....
Что плачете ѿ жены · что носите миро ꙗ҆ⷦо мртвцꙋ · вь-
скрсль есть х҃ь · вьпиѣше древⷬ҇е · бьщѧи сѧ велми · ꙗ҆веⷭⷧ-
и сѧ юноша · плащѣницѫ ѿставль шешеⷣ взвѣстите дрꙋгоⷨ его вьскрсе...
ж Вода еси г҃и живота нескѫднаѥ · и безⷣна мⷧсти....
пѫⷮшествовавь · сѣде близь кладенца клѧтвьнаго и са-
марѣнинѣ реⷱ · дажⷣь ми водꙑ̈ пити · ꙗ҆ⷦо да прим.... ѿставениѣ водꙑ̈
Хвалѫ ѿ҃ца безначѧлна и с҃на спрѣстолна и д҃ха единосѫ-
щна вѣрно · единосѫществьнѫ силѫ и славѫ и едино ц҃р-
ство и б҃а всѣⷯ и т҃врца · сдрьжителѣ всемꙋ бесплътними силами

Д҃воѫ единѫ раждⷣѣщѫ ѫтробѫ нетⷧѣ... ѫ блю... пое-
мь тѫ ч҃стаꙗ прѣстоль б҃жи и дверь и горѫ и мысльныи свѣ-
тилникь лѫжникь всесвѣтлыи б҃жеи · скиниѫ славыи ꙗвⷭѣ · ко-
вчегь же и рѫчкѫ и трапезѫ ⁘ та: коⷣ: гⷭ: и: д҃:

л. II б

Вѣроѫ пришеⷣ · на источникь самарѣнинь · и ѹзрѣ еже ѿ
прѣмѫдрости водѫ напоити ѡбилно · и ц҃рьство свы-
ше наслѣдовати вѣчнеⷭ · ꙗко неизрⷪенень ⁘ икоⷭ:
Ч..стиѫ таинѫ ѹслышиⷨ · иⷩа с҃на наѹчьшѹ · в самари
бывш... како женѣ ꙗвⷭи сѧ слово б҃жие · водѫ просивь
иже воды вь сборищиⷯ своихь сдрьжѧ · иже ѡ҃цеви прѣсто-
лены приде бо взыскати ѡбраза своего (коⷰ): ꙗкⷭо неизрⷪенень
⁘ ѡⷣ҃: з: Не прѣдаждⷣь наⷭ до конца · имени твоего ради · и не
раз... ши завѣта твоего · и не ѡстави мⷧсти твоѫ ѿ наⷭ ·
б҃е... шиⷯ прѣпѣть еси в вѣⷦ ⁘
Сь бе.... ными щедре · волеѫ причтень быⷭ · и вь врѣ-
мѧ....тьвныѫ....ти · сиⷯ зрѧщи трѧсѣше сѧ всѣ
зем.... кам.... .седѣтѣлноѫ ти волеѫ распадахѧ
сѧ не.......тижим.....тиꙗхѧ м҃ртвеци ѿ вѣка ⁘
ь дше...ше ва......идолѣщна адовы извель еси мѫ-
жьство..вѧзаныꙗ всѧ · ꙗⷭже ѿ вѣка см҃рть взѧ · го-
рькы мⷪтель · вьпиѫщиⷯ ти х҃е · слаⷡ твоемѹ трептномѹ смотрению
С м҃ртвыми что вы ищете · живаго в вѣкы · вьста ꙗⷭ-
ко же рⷪе и видите · тщица понѣвы тщи гробь · ꙗⷭвеⷧи сѧ
г҃лаще женаⷨ юноша · тщаниемь идѣте рцѣте аⷭпломь ⁘
Вода еси живота · вьпиѣше х҃е самарѣнинѣ · напои мѧ
ѹбо слово жⷣѫжⷣѧщѹ всеⷣга · твоѫ б҃жественѫ б҃лгости
ꙗⷭко да не к томѹ и҃се г҃и · невѣжествиѣ ѡдрьжима
бѫдѫ сѫщ...ѫ · нѫ проповѣдаѫ твоа величествиѣ ⁘ ~

25 Оц҃а и сн҃а б҃жиѥ пѣ̑нославослови̑м дх҃ь · неразѣ̑лнѫ

26 т҃рцѫ · ество̑м сѫщѫ разѣ̑лнѫ лици · единосѫщьство

27 съвьзрастно безначѧлно т҃врца всемꙋ и б҃а · его же вси

28 нб҃сни чини поѫть

Както в всички по-стари кирилски текстове писмото има лек уклон на дясно. Заглавните букви на отделните куплети са писани вън от текста, на полето на листа. Те са рисувани така, че заградените с мастило пространства са запълнени с киновар. Същата техника се наблюдава и в известния Битолски триод. Заглавните букви, които се срещат вътре в куплетите, са от напълно различен тип и са писани само с червено мастило. Правят впечатление вътрешната главна буква П (вж. обр. 1) на четвъртия ред на л. Iа и главната буква Ч (вж. обр. 2) на 22-рия ред на л. Iа. Първата в своето начертание е напълно еднаква с буква Т на хърватската глаголица. Съвпадежът е разбира се напълно случаен. Втората буква външно напомня начертанието на някоя глаголическа буква. Може да се предполага, че преписвачът е таил в съзнанието си спомени и впечатления от глаголицата.

Начертанието на малките букви се характеризува със следните особености.

Я — Има напълно старинен вид. Петелката във вид на триъгълник е спусната надолу. Такова начертание ⁊ има в Сав. книга и Битолския триод.

Б — Старинно, без да има някакви особени белези за изтъкване.

В — Формата и на тази буква е старинна. Двете петелки са съединени, горната обаче е винаги по-малка. Така е в Супр. На някои места петелките се изострят до ъгловатост — превръщат се в прав ъгъл, както е в Боянското евангелие.

Г — Със спуснато ченгелче надолу. Така е в Супр., Хил. листове.

Д — Двете рамена на тая буква се сливат като образуват остър ъгъл. Долните крачета са доста дълги, при това дясното е почти винаги по-дълго от лявото. Те са сгънати така, лявото на дясно, а дясното на ляво, че краищата им се доближават много одно до друго.

Є — Начертанието е напълно старинно. Прилича на є в Сав. кн.

Ж — В изображението на тази буква имаме отклонение от най-старото ѝ начертание, което виждаме в Супр. сб., Сав. кн. и в Самуиловия надпис. Общият вид на буквата е следният. Четирите странични линии се посрещат в горната част на основния стълбец. Горните линии са по-къси и стърчат прави в страни, долните са извити почти в полукръг. Напомня напълно съответната буква в Битолския триод.

З — Наклонената на дясно основна линия на буквата достига буквения ред. Долната опашка има първоначално водоравна посока и после се спуска надолу с малък завой на дясно. Прилича на з в Сав. кн., дето опашката не е така дълга. Отличава се от з в Битолския триод.

И — Пресечката минава точно по средата на отвесните линии. Има колебания от случаен характер, когато пресечката може да бъде прокарана по-горе от средата на отвесните линии.

I — Не е употребено самостоятелно, а винаги като съставна част на Ы. Отгоре винаги е снабдено с две точки.

К — Страничните куки не се допират до основната хаста. По някога се среща съвсем леко докосване на хастата.

М — Очертанието на буквата е както в паметниците от XI в. и в най-старите среднобългарски паметници. Буквата е доста широка. Средният език се спуска доста надолу и е със закръглен, а не остър връх.

Н — Средната черта най-често започва от самия връх на лявата отвесна линия и свършва до средата, а понякога и до самия край на дясната отвесна черта. На места има този тип.

Ѡ — Средната черта е низка, както напр. в Добромировото евангелие.

Р — По начертанието си напълно прилича на съответната буква в Сав. кн.

Х — Линиите се пресичат доста високо. Прилича на χ в Битолския триод.

Ц — Опашката се спуска под чертата на реда на буквите.

Ч — Заглавното ч напълно чащковидна форма. Малкото ч е напълно прилично на това в Битолския триод. Страничната черта е леко закръглена.

Щ — В листовете се употребява само тази буква. Не се среща нито веднаж ШТ. Опашката на буквата се спуска под линията на буквения ред.

Т — Лявото рамо има често по-дълго ченгелче от дясното. Понякога буквата е доста висока, възвишава се почти в двоен размер над обикновените букви.

Ъ — Буквата е употребена само веднъж на л. Iа ред 20. Има доста голяма закръглена петелка. От водоравната чертичка, която започва от върха на основния стълбец се спуска малко ченгелче.

Ь — Има малка зъкръглена петелка. На върха на основната хаста се наблюдава често ясно изразена главичка, понякога във вид на чертичка, която образува рамене на дясно и на ляво върху основната линия. По такъв начин буквата прилича на знака за ер голям в Самуиловия надпис (ъ).

Ы — Винаги с две точки върху I. Така е в Охридския апостол и Битолския триод.

Ѣ — Начертанията й са типични за среднобългарските паметници. Отвесната линия отскача високо над равнището на буквите. Пресечната линия обаче се поставя на равнището на буквите.

Ꙗ — Пресечната линия стига малко над средата на а, обаче никога не допира върха на буквата.

Ю — Има обикновен вид, но винаги с две точки отгоре.

Ѧ — Най-често линиите, които образуват острия ъгъл са прави, но има случаи, когато дясната е леко завита. На едно единствено място се среща А.

Ж — Има архаичен изглед. Езичето й се спуска направо от мястото, дето се пресичат крачката. Както в най-старите паметници, горната част, коронката, е много малка. В повечето случаи тя е залята с мастило.

В начертанията на лигатурите не се забелязват особености, които да се отклоняват от познатите типове в среднобългарските паметници.

Ярко доказателство за западнобългарския произход на листовете представя безизключителното изясняване на еровите гласни. Единственият голям ер в силна позиция, който се среща в текста на листовете,

се явява изяснен в *о* — ЗОЛЬ IIа 7 род. мн. По-многобройни са случаите със силен малък ер:

пришествие Iа 7 ченѫ Iа 9 огнень Iа 13 праведьныї Iа 21 ѹмершѹ Iб 9 бжественыї Iб 15 шеше IIа 18 пѫшествовавь IIа 20 единосѫщественьнѫ IIа 23 прише IIб 1 неизреченнь IIб 3 7 бжественнѫ IIб 22 невѣжественѣ IIб 23 величественѣ IIб 24. Към тая редица спада и прѣстоленыї IIб 6—7, което почива върху прѣстоленъ. Нека изтъкнем още изяснението на малкия ер пред и в бжен Iб 1 IIа 27 и авен IIа 17—18 IIб 19. Не се среща изяснение на еровата гласна в възъ- и съ-, употребени като представки: вьспрнемь Iа 1 вьскрсе Iа 2 23 IIа 13 18 вьсталь Iа 4 Iб 12 вьставиль Iа 4 вьзнесе сѧ Iа 18 вьстахѧ Iа 19 вьстаннемь Iб 10 вьзрадѹите сѧ Iб 26 вьзвѣстить IIа 14 триньставно IIа 1 сьвьзрастно IIб 27 и др. В същите наставки еровата гласна се изпуска понякога напълно. В това отношение нашите листове си приличат с Битолския триод. Примерите са следните: взвѣстишѧ Iа 7 сборнще Iб 4 смрти Iб 9 смрть Iб 23 IIб 16 взрадѹим Iб 25 взыграните Iб 26 взыде IIа 8 взвѣстите IIа 18 спрѣстолна IIа 22 сдрьжителѣ IIа 24 сборнщи IIб 6 сдрьжѧ IIб 6 взыскати IIб 7. Изпускането на слабите ерове има в листовете изобщо много широко място.

В нашите листове намираме сравнително взето малко случаи от замяна на носовките. Можем да изтъкнем следните особености.

1. Замяна на носовки в корена на думите забелязваме само при един единствен случай, именно в корен жѧд-: нежѫжеть Iб 14 жѫжѧщѹ IIб 22.

2. Единствената форма, която се явява последователно със замяна на носовката, е родителният падеж на притежателното местоимение твоꙗ, именно твоѫ вм. твоѧ. Намираме я на пет места Iа 26, Iб 6, Iб 14, IIб 9, IIб 22. Само във фразата пожрьта бы твоѫ смрти сила Iб 9 — κατεπόθη σου θάνατε ἡ δυναστεία се поражда известно съмнение дали тая форма е родителна или именителна. По-вероятно е да се приеме, че и в тоя случай имаме родителна форма поради недостатъчно умело превеждане на гръцкия текст.

3. Сравнително най-чести случаи от замяна на носовките наблюдаваме в сегашните причастни форми. Касае се от една страна за замяна на ѭ от разширената основа при косвените падежи с ѩ. В пет места тая замяна се явява след гласни: даѩщомѹ Iа 16 обѣтѹѩщѹ Iа 16 вьпиѩще Iб 1 блистаѩщиа сѧ Iб 21 — 22 ражѣѩщѹ IIа 25. Два случая намираме след съгласни: идѩщиа Iа 20 жѫжѩщѹ IIб 22. Обратно, в окончанията на причастията имаме случаи от замяна на ѩ с ѭ. Те са следните: пожщѭѫ (вин. мн. ч.) Iб 16 просвѣщаѫ (им. п. м. р.) IIа 15. Формата ѹтрьнѹѫ Iб 20, която стои в същност на мястото на гръцки глагол за 3 л. ед. ч. сег. вр. ὀρθρίζει може да се схваща и като сегашно причастие и като форма за 1 л. ед. ч. сег. вр.

4. В падежни окончания на съществителни имена имаме само два случая от замяна на носовките: д҇шѫ (вин. мн. ч.) Iа 3 и плащѣницѫ (вин. мн. ч.) IIа 18. Последното би могло да се изтълкува и като форма за единствено число.

5. Малко повече са случаите при падежните форми на прилагателните. Наблюдават се тук четири случаи от замяна на ѧ с ѫ: ѿкованныѫ (вин. мн. ч.) Iа 3, прѣмѫдреѫ (род. ед. ч. ж. р.) Iа 26, ...твьныѫ (род. ед. ж. р.) IIб 12, б҇жественѫ (род. ед. ч. ж. р.) IIб 22.

6. Всички изброени до тук случаи могат да се наблюдават и в много други среднобългарски паметници. Освен тях обаче в нашите листове се срещат няколко примера от напълно рядък тип замяна. Касае се за предаването на имперфектното окончание -хѫ с -хѧ. Случаите са следните: ѿстѫпахѧ Iа 7 вьстахѧ Iа 19 бывахѧ Iа 21 распадахѧ сѧ IIб 13-14. Намираме и едни случай от замяна на аористно окончание -шѧ с -хѧ: пригвоздихѧ, IIа 9. В целия текст на Врачанското евангелие се срещат само шест подобни замени. В двата кирилски листа, които разглеждаме тук, примерите са почти толкова. Очевидно става, че ръкописът, част от който са нашите листове, е притежавал тая особеност в много широки размери.

7. Друга черта, която сближава езика на пергаментните листове с тоя на Врачанското евангелие, е замяната на ѩ с А в крайни срички след палатали. Примерите са два: славѧща (вин. мн. ч.) Iа 11, ТЦІА (им. п. ж. р. мн. ч.) IIб 19. Подобен случай имаме и при винителната форма на относителното местоимение ѩже IIб 16 вм. ѩже.

8. При един единствен случай виждаме замяна на ѫ с ѧ след палатал в края на думата пожщѧ IIа 12 (вм. пожщѫ).

9. Намираме и един твърде загадъчен случай оз замяна на ѫ с оу: жѫжѧщ8 (вин. п. ед. ч. ж. р.) IIб 22.

И в останалите свои особености езикът на разглежданите тук два кирилски пергаментни листа не се отклонява от познатия среднобългарски тип. Ще обърна внимание само на факта, че дателните форми на самарѣныни на две места (IIа 20—21, IIб 21) са дадени по *а*-основи: самарѣнинѣ. На две места (Iа 9, Iб 13) дателните окончания на това име не личат. На едно място обаче (Iб 29) имаме дателна форма самарѣнɪʜи.

Езикът на нашите пергаментни листове издава всички несъвършенства на ранните славянски преводи на стихотворни гръцки текстове. Наблюдават се много неточности в превода, много непоследователности в постройката на изреченията. На много места се изпускат думи, сингуларни форми се променят в плурални и обратно. Ще приведем по-долу някои от по-важните случаи като ги съпоставим с Цветен триод от XVI в. (сръбска редакция), който се пази в Църковния музей в София. Приведеният гръцки текст е от печатан триод от XIX в., Цариградско издание.

На първия ред в нашите листове четем распѧт сѧ волеѫ и плъти҄ѫ въсприемь, което очевидно е безсмислица (сравн. иже крть волею плътию прїемь, гр. ὁ σταυρὸν ἑκούσιον, σαρκὶ καταδεξάμενος). Неправилна е и фразата адовь хранилищь живоначѧлниче ги истщивь Іа 2—3, дето имаме родителни форми вместо очакваните винителни (сравн. адова сковища живоначелне ги истьщивь, гр. ᾅδου ταμεῖα, ζωαρχικέ Κύριε, κενώσας). Причастието в следното изречение стои в именителен падеж вм. в родително-винителен зракомь бльщѧ сѧ мироносицѧ видѣвше англа Іа 6 (сравн. зракомь блистающа се мγроносице видѣвше аггла, гр. τῇ μορφῇ ᾽αστράπτοντα, αἱ Μυροφόροι βλέψασαι, τὸν ῎Αγγελον.) Без никакво оправдание в следноти изречение са употребени родителни форми вместо именителни ıако тврца и ба вех спси Іа 11 (сравн. wче и сне и дше творче всѣмь спсаи, гр. ὡς ποιητής τῶν ὅλων σῶζε). Пропусната е причастната форма в изречението не.... занно вь чрѣвѣ своемь дво мти · вех ба и црѣ Іб 2 (сравн. несказанно зачьнши вь оутробѣ своеи вьсѣх ба дво мти, гр. ἀνερμηνεύτως συλλαβοῦσα ἐν τῇ γαστρὶ σου, τὸν τῶν ὅλων Θεὸν Παρθενομῆτορ). Несъвършенствата на превода се отразяват и във фразата пожрьта бьї твоѫ смрти сила Іб 9 (сравн. пожрьта бы твоıа сьмрьти сила, гр. κατεπόθη σου θάνατε ἡ δυναστεία). Объркана се явява и фразата иwна сна наѹчьшѹ IIб 4 (сравн. їwанноγ нась наоγчающоγ, гр. ᾽Ιωάννου ἡμας ἐκδιδάσκοντος).

Ще изтъкнем и следните отлики на иашия текст които по всяка вероятност се дължат на редакционни различия в гръцкия оригинал: да кропѧт ѿблаци к правдѫ Іа 5 — да кропеть wблаци правдоγ ῥανάτωσαν νεφέλαι δικαιοσύνην; ѹтерьди сѧ срцѣ мое ѿ ги дающомоу свѣт ѿвѣтѹющѹ Іа 16 — оγтерьди се срдце мое ѡ ги дающомоγ мтвоγ молещомоγ се ἐστερεώθη ἡ καρδία μου ἐν Κυρίῳ τῷ διδόντι εὐχὴν τῷ εὐχομένῳ; н... азанно зачѧтие законоположник видѣаше древе неwпалимоу Іб 17 — коγпиноγ те законодавць зрѣше древлие ἀκατάφλεκτον βάτον σε, ὁ νομοθέτης ἑώρα πάλαι; радуите сѧ рекль еси женамь и тѣма

рещи възвѣстить ѹченикомъ IIа 13—14 — радѹите се рекь женамь и сихь рещи посла́ль еси ѹченикѡм καὶ ταύτα εἰπεῖν ἐξαπέστειλας μαθηταῖς; вѣрож пришедъ на источникъ самарѣнинь и ѹзрѣ еже ѿ прѣмѫдрости водѫ напоити ѿбилно и цр҃ьство свыше наслѣдовати вѣчне ꙗко неизреченнь IIб 1—3 — вѣрѣ пришьдъши на исто́чникь самараныни видѣвши прѣмоудрѡсти во́доу тебе напивши се обилно и цр҃твиа вышнꙗго наслѣдовавши вѣчно прѣнославнаа πίστει ἐλθοῦσα ἐν τῷ φρέατι, ἡ Σαμαρεῖτις ἐθεάσατο, τὸ τῆς σοφίας ὕδωρ σε, ᾧ ποτισθεῖσα δαψιλῶς, βασιλείαν τὴν ἄνωθεν ἐκληρώσατο αἰωνίως ἡ ἀοίδιμος.

Кирил Мирчев (София)

Malí Proroci v Antiochových Pandektech z r. 1307

Ivan Paňkevič (Praha)

V přednášce o lexikální stránce biblických citací ve lvovském rukopisu Antiochových Pandektů z r. 1307 (dále užívám zkratky AP), konané dne 13. II. 1948 ve Společnosti pro slovanský jazykozpyt v Praze (viz ČMF 31, 1948, 000—000), poukázal jsem na to, že citace ze Starého Zákona zachovávají až na malé odchylky text první úplné tzv. metodějské redakce Písma. Hojné citace ze Starého Zákona v Antiochových Pandektech nejen lvovských, nýbrž také z rkp. XI. st., jak je máme sestaveny v Amfilochově práci *Исследование о Пандекте Антиоха XI в., находящемся в Воскреценской Новоиерусалимской библиотеке* (Moskva 1880), doplňují doposud nám známé citace roztroušené ve staré csl. a staroruské literatuře a mohou býti také přínosem k řešení otázky překladu celé bible, právě lexikální stránkou, t. j. zachováním těchto slov, která v simeonovském období byla zaměněna novými. I. Jevsejev v studii o knize proroka Isaiáše poukázal na důležitost Antiochových Pandektů XI. stol. pro stsl. překlad proroka Isaiáše právě proto, že Pandekty obsahují ty kapitoly, které nevešly do paramejního překladu.[1]) Nehledě na blízkost předloh komentovaných proroků k předloze Pandektů překladatel Antiochových Pandektů užívá překladu parimejního. Toto zjištění Jevsejevovo platí také pro Malé Proroky.

Citace z Malých Proroků jsou nejčastěji jen zlomky vět jednotlivých kapitol spojených v jeden celek, jak to potřeboval Antioch při argumentaci svých myšlenek. Ale i v této zlomkové podobě zachovává se nám stará slovníková zásoba, charakteristická pro parimejní překlady.

Překladatel Antiochových Pandektů do staroslověnštiny řídil se řeckou předlohou odlišnou od předlohy parimejní, předlohou, jíž bylo v VI.—VII. st. užíváno na území jerusalemského patriarchátu. Překladatel AP do staroslověnštiny se snažil zachovati věrnost své předlohy a v tom se také odráží jeho tvůrčí překladatelská práce. Na mnoha místech hotové již překlady zapojoval formálně do myšlenek autora, do větné stavby své předlohy.

Malí Proroci jsou zastoupeni ve lvovském rukopise z r. 1307 stejně jako v rukopise z XI. stol. v počtu deseti. Nejsou tam zastoupeni proroci Jonáš a Haggaeus. Počet vět je nerovnoměrný, nejvíce vět je z Oseáše — 15, z Amose — 10, z Joela — 8, z Micheáše — 8, ze Zachariáše — 7, z ostatních méně: z Malachiáše a Habakuka po 5, ze Sofoniáše — 4, z Nahuma — 3 a z Abdiáše — 2 věty.

---

[1]) Ivan Jevsejev, *Книга пророка Исаии в древне-славянском переводе*, С-Петербург 1897, 160, 5.

Lexikální rozbor stsl. citací Malých Proroků v Ap je usnadněn uveřejněním komentované simeonovské redakce 4 proroků, Oseáše, Joele, Amose a Abdiáše N. L. Tunickým,[2]) který za základ položil rukopis knihovny Trojické lavry č. 89 a varianty čerpal ze tří jiných rukopisů: 1. knihovny tehdejší Moskevské duchovní akademie č. 19, 2. rukopis téže knihovny č. 20, 3. rukopis Trojické lavry č. 90. Při citacích z proroků Abdiáše, Zachariáše, Malachiáše a Sofoniáše pomáhají nám hlaholské texty z breviářů a misálů, uveřejněné v studiích Josefa Vajse *Analecta sanctae scripturae ex antiquioribus codicibus glagoliticis, Prophetae minores:* 1. *Propheta Habacuc*, Veglae 1912, 2. *Sophonias — Haggaeus*, Veglae 1913, 3. *Zacharias — Malachias*, Veglae 1915. Tyto hlaholské texty v základě zachovávají slovník paramejních čtení. Ale hlaholské texty jsou příliš kusé a důsledkem toho mohou býti všechny citace z AP s nimi srovnány. Ale tu nám pomáhá zjištění Nahtigalovo a Tunického, že metodějské texty těchto proroků vešly do komentované simeonovské redakce beze změny;[3]) totéž potvrzují práce Josefa Vajse. Vajs srovnává hlaholské perikopy proroků Zachariáše a Malachiáše s cyrilským textem kodexu býv. knihovny Synodální a dochází ke zjištění, že hlaholské perikopy z kodexu Vitova a perikopy synodální mají společný základ, při čemž hlaholské udržují starší formu.[4]) Hlaholské perikopy proroka Sofoniáše z býv. vídeňské dvorní knihovny srovnal Vajs s cyrilskými texty býv. Rumjancevského musea v Moskvě č. 31, s texty synodálními č. 1 a s texty Ostrožské bible a došel k závěru obdobnému, jako u Zachariáše a Malachiáše.[5]) Mimo to v některých případech, jako u Joele ($2_{12, 13, 17}$) a Zachariáše ($8_{16, 17}$), pomáhají texty parimejní a také uvedená studie Nahtigalova a Jagićovy *Entstehungsgeschichte der ksl. Sprache*[2] (1913), a *Zum Altkirchenslawischen Apostolus* I—III (1919, 1920). Pro proroky Micheáše a Nahuma schází nám srovnávací materiál a Nahtigalovy citace nepostačují, chybí tam právě ty věty, které máme v AP.

Na tomto místě lze podotknouti, že při srovnání citací z AP XI. stol., které uvedl Amfilochij v studii *Исследование о Пандекте Антиоха* XI в. s citacemi lvovského rukopisu z r. 1307 možno konstatovati jen rozdíly gramatické a v řídkých případech rozdíly lexikální. Ale ve lvovském rukopise je citací víc, poněvadž rukopis z XI. stol. je neúplný. Věty v rukopisu z XI. stol. chybějící poznamenáváme na příslušných místech znakem AP XI. — Ø.

Řecké citace uvádíme z Patrologie Migne, series graeca prior, sv. 89. Komentovaný text označujeme písmenem *K*, hlaholský text písmenem *hl*, hlaholské texty Berčićovy *Berč.*, Grigorovičův Paramejník ve vydání Brandtově[6]) *Pgr*, Ljapunovský Param. — *Pljap*, Stefanovský Param. — *Pstef*, Perfirjevský Param. — *Pperf*. Jagićovy práce *Entstehungsgeschichte... Entg* a *Zum Altkirchenslawischen Apostolus AAp*, proroka Isaiáše *Isa.* U každé citace podávám do závorek číslo lístku rukopisu AP z r. 1307 a cyrilskými písmeny kapitolu díla. Mezi pořadem kapitol AP a řeckým vydáním Migne od kap. 70 je neshoda.

---

[2]) N. L. Tunickij, *Книги XII малых пророков с толкованиями в древнеславянском переводе*, Сергеев Посад 1918.

[3]) R. R. Nahtigal, *Несколько заметок о следах древне-славянского Паремейника в хорватской глаголитической литературе*, Москва 1902, 33, 40, 41. — N. L. Tunickij, o. c., V.

[4]) Jos. Vajs, *Zacharias — Malachias*, 47.

[5]) Jos. Vajs, *Sophonias — Haggaeus*, 41.

[6]) Roman Brandt, *Григоровичев Паримейник в сличении с другими Паримейниками*, выпуск I. Москва 1894.

[7]) Valentinus Lach, *Vetus testamentum graece iuxta LXX interpretes*, Ratisbonae 1886.

Oseáš

1, 9. нарекоу[1]) не люди моꙗ люди[2]) моꙗ (294a — ркѕ) — Καλέσω τὸν οὐ λαόν μου, λαόν μου.

[1]) K. прозови, *hl.* нарци — κάλεσον. — [2]) *hl.* a *K.* людие.

1, 10. и боудеть на[1]) мѣстѣ идеже[2]) ре҃ сѧ[3]) не людье мои вꙑ[4]) тоу нарекоуть сѧ[5]) сн҃ве б҃а жива (294a — ркѕ) — καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐῤῥέθη. Ὁ λαός μου ὑμεῖς, ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ Θεοῦ ζῶντος.

[1]) *K.* въ. — [2]) *K.* на немже. — [3]) V *hl.* a *K.* za рече následuje имъ. — [4]) *K.* вы сами. — [5]) *K.* прозовете сѧ.

4, 2. ꙗко лъжа а не вѣра иꙁрѣможе на земли (106в — м҃а) — Ὅτι ψεῦδος, καὶ οὐ πίστις ἐνίσχυσεν ἐπὶ τῆς γῆς.

4, 11. вина и пьꙗньсътва[1]) пождеть[2]) срд҃це люди моихъ (21в — е҃) — Οἶνον καὶ μέθυσμα ἐδέξατο καρδία λαοῦ μου.

[1]) *K.* пьꙗничьство. — [2]) *K.* прїатъ, *AP XI.* пожидеть.

4, 12. дх҃мь любодѣꙗньꙗ[1]) заблоудиша[2]) (53в — ѕ҃і) — Πνεύματι πορνείας ἐπλανήθησαν.

[1]) *K.* блѫжденїа. — [2]) *K.* съблѫдиша, *AP XI.* забоудеши.

4, 14. и люди разоумѣюще[1]) сьплѣтахоу сѧ съ любодѣицею[2]) (53b — ѕ҃і) — καὶ ὁ λαὸς ὁ συνιὼν συνεπλέκετο μετὰ πόρνης.

[1]) *K.* съмыслѧщии, *AP XI.* не разоумѣѭштеи. — [2]) *K.* съ блѫдницею.

4, 15. нѣ кльнѣте сѧ[1]) живомь б҃мь (148a — ѯ҃в) — καὶ μὴ ὀμνύετε ζῶντα Κύριον.

[1]) *K.* не кланѧйте.

4, 18. любы дѣюще[1]) излюбодѣꙗша[2]) възлюбиша бещестье (53в — ѕ҃і) — Πορνεύοντες ἐξεπόρνευσαν· ἠγάπησαν ἀτιμίαν.

[1]) *K.* блѫдѧще. — [2]) възблоудиша, *AP XI.* излюбодѣаше

5, 4. дх҃ъ любодѣꙗньꙗ[1]) есть в нїхъ. г҃а же не познаша[2]) (53в — ѕ҃і) — Πνεῦμα πορνείας ἐστὶν ἐν αὐτοῖς, τὸν δε Κύριον οὐκ ἔγνωσαν.

[1]) *K.* блѫжденїꙗ. — [2]) *K.* не оувѣдѣша.

6, 3 поженѣмъ познати[1]) б҃а (211в — ч҃в) — Διώξωμεν τοῦ γνῶναι τὸν Κύριον.

[1]) *K.* оувѣдѣти г҃а. *Berč.* оувѣмь = řec. γνωσόμεθα.

6, 6 зане[1]) млти хощеть[2]) а не жертвѣ[3]). и познанью[4]) б҃ью неже[5]) всесъжагаемыхъ[6]) (211в — ч҃в) — διότι ἔλεον θέλει, καὶ θυσίαν· καὶ ἐπίγνωσιν Θεοῦ, ἢ ὁλοκαυτώματα.

[1]) *K.* имь. — [2]) *K.* хощѫ. — [3]) *K.* негли трѣбѣ. — [4]) *K.* оувѣдѣнїе. [5]) *K.* негли. — [6]) *Berč.* олокавтомать, *K.* всесъжеженїа.

10, 12 сѣите[1]) глѧ въ правдоу (222a — ч҃и · — Σπείρατε εἰς δικαιοσύνην.

[1]) *K.* následuje себѣ.

12, 6 млть и сѫдъ храните[1]). и прїближаите сѧ къ боу҃ своемоу воиноу[2]) (222a — ч҃и) — καὶ ἔλεον, καὶ κρῖμα ψυλάσσου, καὶ ἐγγιζε πρὸς τὸν Θεόν σου διὰ παντός.

[1]) *K.* сънабди, *AБ* сънабдише φυλάσσου. — [2]) *K.* присно.

13, 9 растлѣнью[1]) твоемоу и҃лю кто поможеть (224a — р҃) — Τῇ διαφθορᾷ σου, Ἰσραὴλ, τίς βοηθήσει.

[1]) *K.* въ расыпанїе твое.

13, 10 кде црь твои[1]) и да спсеть тѧ (224a — р҃) — ποῦ ὁ βασιλεύς σου, καὶ σωσάτω σε,

[1]) *K.* následuje тъ.

Joel

1, 5 истрѣзвѣте[1]) оупивающе[2]) сѧ ѿ вина ихъ[3]). плачьте[4]) и рыдаите[5]) вси пьющеи вино въ пьяньство[6]) (21в — є҃) — Ἐκνήψατε οἱ μεθύοντες ἐξ οἴνου αὐτῶν, κλαῦσατε καὶ θρηνήσατε πάντες οἱ πίνοντες οἶνον εἰς μέθην.

[1]) *K.* оутрѣзвитевсѧ. — [2]) *K.* пьꙗнїи, *hl.* супиѥющеи се. — [3]) *K.* своѥго. — [4]) *K.* плачѣтесѧ, *hl.* плачите се, *AP XI* плачите. — [5]) *AP XI* рыдаите сѧ. — [6]) *K.* до пьꙗнства.

1, 9 рыдаите[1]) глѧ чтители[2]) слꙋжащеи ѡлтареви[3]) (243в — рз҃) — Πενθεῖτε, λέγων, οἱ ἱερεῖς οἱ λειτουργοῦντες τῷ θυσαστηρίῳ.

[1]) *K.* плачитсѧ, *hl.* плачит се. — [2]) *K.* жерци, *hl.* освещени. — [3]) *K.* трѣбникꙋ, *AP XI* ѡлтарю.

1, 10 ꙗко пострада[1]) всѧ землѧ[2]) (243в — рз҃) — ὅτι τεταλαιπώρηκεν πᾶσα ἡ γῆ.

[1]) *hl.* острастише се, *Berč.* страстише се, *K.* пострадашѧ. — [2]) *K.* полѧны, *hl.* пола, řec. πεδία.

1, 14, 2, 15 остите пощѣнье[1]). проповѣдите слоужѣнье[2])... возпите (26в — з҃) — Ἁγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε θεραπείαν, κεκράξατε.

[1]) K. ал'канїє. — [2]) K. цѣл'бꙋ.

1, 15 оувы[1]) мнѣ ꙗко близь днь гнь (26в — з҃) — Οἴμοι, οἴμοι, ὅτι ἐγγὺς ἡ ἡμέρα Κυρίου.

[1]) *K.* оу҃ люте, *hl.* о горе.

2, 12 нынѣ[1]) глть гь бъ нашь[2]). обратите сѧ ко мнѣ всѣмь срдцемь вашимь. пощѣньемь[3]) и рыданьемь[4]). плачемь и воплемь[5]) (26в — з҃) — Καὶ νῦν λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, Ἐπιστράψητε πρός με ὅλης τῆς καρδίας ὑμῶν ἐν νηστείᾳ, καὶ ἐν κλαυθμῷ, καὶ ἐν κοπετῷ.

[1]) *P.* тако, *hl.* И нине. — [2]) *K.* вашъ. — [3]) *K.* съ алчьбою. — [4]) *K.* Toto slovo chybí. — [5]) *K.* съ желею, *hl.* ваплаством, *Pgr* въпльствиемь, *Pprf.* воплемь.

2, 13 и растергнѣте[1]) срдца ваша... и обратите сѧ къ гоу боу нашемоу[2]). ꙗко млтивъ и щедръ ѥсть. терпѣливъ и многомлтивъ. каѫ сѧ[3]) о злобахъ вашихъ[4]) (27а — з҃) — καὶ διαῤῥήξατε τὰς καρδίας ὑμῶν, καὶ ἐπιστρέψατε πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν ὑμῶν, ὅτι ἐλεήμων, καὶ οἰκτίρμων ἐστὶ, μακρόθυμός τε καὶ πολυέλεος, καὶ μετανοῶν ἐπὶ ταῖς κακίαις ὑμῶν.

[1]) *K.* развръзѣте. — [2]) *K. Pgr. hl.* вашемоу. — [3]) *K.* раскаваꙗсѧ. — [4]) *K.* Toto slovo chybí, *hl.* ищихь, *Pgr* члчьскыхъ.

2, 17 плачѣте[1]) стли[2]) сълоужаще гви. и рцѣте[3]) пощади гн люди своꙗ. и не дажь[4]) достоꙗньꙗ[5]) своѥго въ поношѣнье[6]). обладати имь[7]) ꙗзыкомъ[8]). да не рекоуть[9]) кде ѥсть бъ ихъ (243в — рз҃) — κλαύσατε, οἱ ἱερεῖς οἱ λειτουργοῦντες τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐρεῖτε, φεῖσαι, κύριε, τοῦ λαοῦ σου, καὶ μὴ δὸς τὴν κληρονομίαν σου εἰς ὄνειδος τοῦ κατάρξαι αὐτὴν ἔθνη. ὅπως μὴ εἴπωσιν, ποῦ ἔστιν ὁ Θεὸς αὐτῶν.

и не дажь достоꙗньꙗ твоѥго въ поношѣнье обладати инѣмъ ꙗзыкомъ. ꙗко да не рекоуть кде ѥсть бъ ихъ (303в) — Καὶ μὴ δῷς τὴν κληρονομίαν σου εἰς ὄνειδος, τοῦ καταρᾶσαι αὖτὴν ἔθνη, ὅπως μὴ εἴπωσιν, Ποῦ ἐστιν ὁ Θεὸς αὐτῶν.

[1]) *hl.* всплачоут се, *Pgr.* въсплачѧть (же) сѧ, *Pljap.* да плачютсѧ, *P. stef.* въсплачете = řec. κλαύσονται, *K.* въсплачютсѧ. — [2]) *Pgr., hl.* ерѣи, *K.* жерци. — [3]) *Pgr.* рекѧть, *hl., K.* и рекоуть = řec. καὶ ἐροῦσι. — [4]) *hl.* не даи. — [5]) *K.* чѧсти своѥѧ. — [6]) *K.* на оукоризноу, — [7]) *Pgr.* да не ѡбладають имь, *hl.* да не обладають ими, *K.* да не ѡбладѧть ими. — [8]) *K.* страны, *Pgr.* ѧзыци, *hl.* езици. — [9]) *Pgr. hl.* ꙗко, *K.* ꙗкоже. — [10]) V *Pgr.* následuje ѧзыци, *K.* въ страна.

Amos

2, 7 боꙗи[1]) въ главꙑ оубогꙑхъ[2]) и поуть смѣренныхъ оуклониша[3]) (99a — л҃з) — Ἐκονδύλιζον εἰς κεφαλὰς πτωχῶν, καὶ ὁδὸν ταπεινῶν ἐξέκλιναν.

1) *K.* потыкаахꙋсѧ, *AP XI* бьꙗи. — 2) Ve větě 5₁₁ нищихъ. — 3) *K.* съкращаахѫ.

2, 8 вино ѿ клеветъ[1]) пьꙗхоу (99a — л҃з) — οἶνον ἐν συκοφαντιῶν ἔπινον.

1) *K.* ѿ блогъ, *АБ* ѿ облогъ.

2, 14 храборъ не спсеть[1]) дша своꙗ (225в — р҃а) – Ὁ μαχητὴς οὐ μὴ σώσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ.

1) *K.* не стрьпит, další slova v *K.* chybějí. Ale konec 15. věty v *K.* zni: и коньникъ не спсть дша своєѧ.

2, 15 и бꙑстрꙑи ногама своима не оугонзеть (225в — р҃а) — καὶ ὁ ὀξὺς τοῖς ποσὶν αὐτοῦ οὐ μὴ διασωθῇ.

1) *K.* оуцѣлѣеть, *AP XI* оугонезнеть.

5, 11 мьздоу избраноу[1]) приꙗсте ѿ нищихъ[2]) (31a — ѕ҃) — Δῶρα ἐκλεκτὰ ἐδέξασθε παρὰ πτωχῶν.

1) *K.* изборнꙋ. — 2) *K.* ѿ него.

5. 13 во врѣмѧ оно[1]) разоумѣваꙗ[2]) помолчить[3]) ꙗко врѣмѧ[4]) зло[5]) єсть (231a — р҃г) — Ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὁ συνιὼν σιωπήσεται, ὅτι καιρὸς πονηρός ἐστι.

1) *K.* въ тъ годъ. — 2) *K.* съмыслѧи. — 3) *K.* прѣмлъчить. — 4) *K.* годъ. — 5) *K.* зълъ.

5, 18 лютѣ[1]) ре желающемоу[2]) дне гнѧ… и тъ[3]) єсть тма (171в — ѻ҃є) — Οὐαὶ ὁ ἐπιθυμῶν τὴν ἡμέραν Κυρίου, καὶ αὕτη ἐστὶν σκότος. AP XI - O.

1) *K.* оу лютѣ. — 2) *K.* помышлающиимь днь гнь. — 3) *K.* сь бо.

8, 5 сътвори[1]) малꙋ мѣроу… и мѣрило[2]) неправедноє (171в — ѻ҃є) — τοῦ ποιῆσαι μικρὸν μέτρον, καὶ ζυγὸν ἄδικον.

1) *K.* ꙗко сътворить. — 2) *K.* прѣвѣсьнѧ неправды.

8 8 и оусплачеть[1]) землѧ и соущии[2]) на нѥи (208a — ч҃) — καὶ πενθήσει ἡ γῆ, καὶ τὰ ἐν αὐτῇ. AP XI - O.

1) *K.* възмѧтет'сѧ, *A.* съмѧтет'сѧ = řec. ταραχθήσεται — 2) *K.* живѧи.

8, 11 се деньє грѧдоуть[1]) глеть гь. и послю[2]) на землю не гладъ хлѣбнꙑи[3]) и жажа водꙑ[4]). но гладъ не слꙑшати[5]) словесе[6]) гнѧ[7]) (208a — ч҃) — Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ ἐξαποστελῶ λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν, οὐ λιμὸν ἄρτου, οὐδὲ δίψαν ὕδατος, ἀλλὰ λιμὸν τοῦ ἀκοῦσαι λόγον Κυρίου.

1) *K.* идоуть. — 2) *K.* послѭ. — 3) *K.* хлѣб, *AP XI* глада хлѣбна. — 4) *AP XI* водьнꙑ. — 5) *K.* слышанїа, *AP XI* не оуслꙑшить. — 6) *K.* слова. — 7) *K.* бжїа.

Abdiáš

1, 7 моужї мирници твои положиша сѣть[1]) предъ тобою[2]) (86a — л҃) — Ἄνδρες εἰρηνικοί σου ἔθηκαν ἐνέδραν ὑποκάτω σου.

1) *K.* льсть. — 2) *K.* под тобою, *AP XI* подъ тож.

1, 15 нмже образомь створн боудеть тн оуздание твое. въздасть сѧ на главоу твою (161в — ѳ) — Ὃν τρόπον πεποίηκας, ἔσται σοι οὕτως· καὶ τὸ ἀνταπόδομά σου ἀνταποδοθήσεταί σοι εἰς κεφαλήν σοι.

V komentovaném textě tato věta schází.

Micheáš

6. 8 аще възвѣстить[1]) тн сѧ члвче что добро нлн что[2]) нщеть гь ѿ тебе, но творнти соудъ н любнтн млть (211в — чв) — Εἰ ἀνηγγέλη σοι, ἄνθρωπε, τί καλὸν, ἢ τί Κύριος ἐκζητεῖ παρὰ σοῦ, ἀλλ' ἢ τοῦ ποιεῖν κρῖμα, καὶ ἀγαπᾷν ἔλεος.

[1]) *AP XI* възвѣстнтнсѧ. — [2]) *AP XI* чесо.

6, 11 аще оправдать сѧ глѧ въ мѣрнлѣ безаконьꙗ. н въ врѣтїщн[1]) ставнла лестьна снн[2]) (171в — ѳє) — Εἰ δικαιωθήσεται, λέγων, ἐν ζυγῷ ἄνομος, καὶ ἐν μαρσίππῳ σταθμία δόλου,

[1]) *K.* Isa. 46б мѣхъ (Jevsejev, op. cit. 103) — [2]) V *AP XI* снн není.

6, 12 ꙗзыкъ нхъ оузнесе сѧ въ оустѣхъ нхъ (90а — лв) — Ἡ γλῶσσα αὐτῶν ὑψώθη ἐν τῷ στόματι αὐτῶν.

7, 2 охъ мнѣ дше ꙗко погыбе говѣнне ѿ землѧ (90ав — лв) — Οἴμοι ψυχὴ, ὅτι ἀπώλωσεν εὐλαβὴς ἀπὸ τῆς γῆς.

7, 3 кождо нскрьнѧго своего оутѣшаеть. на злое рокы своꙗ готовлѧюще (142а — нд) — Ἕκαστος τὸν πλεσίον αὐτοῦ ἐκθλίβει, εἰς τὸ κακὸν τὰς χεῖρας αὐτῶν ἑτοιμάζοντες.

7, 5 не емлѣте вѣры дроугомъ... н ѿ слоугы своеꙗ хранн сѧ[1]). не повѣдан ен ннчсоже. хранн сѧ ѿ подроужьꙗ[2]) (150а — ξ'д) — Μὴ καταπιστεύετε ἐν φίλοις. Καὶ ἀπὸ τῆς συγκοίτου σου φύλαξον τοῦ μὴ ἀναθέσθαι αὐτῇ τι.

[1]) *AP XI* хранитн сѧ. — [2]) Poslední část věty хранн сѧ... není na svém místě, ani neodpovídá řeckému textu. Překladatel vložil novou větu: н ѿ слоугы своеꙗ хранн сѧ, což nenacházíme v řecké předloze. Slova odpovídající řecké předloze καὶ ἀπὸ τῆς συγκοίτου σου φύλαξον překladatel dal až na konec.

7. 9 гнѣвъ гнь прѣтерплю ꙗко съгрѣшнхъ ем (174а — ос) — Ὀργὴν Κυρίου ὑποίσω, διότι ἥμαρτον αὐτῷ.

7, 14 пасї люди своꙗ жезломь (189в — пв) — Ποιμαίνε λαόν σου ἐν ῥαβδῳ.

Nahum

1, 7 блгъ[1]) гь терпѧщїмы[2]) н оу днь печаленъ (177а — оз) — Χρηστὸς Κύριος τοῖς ὑπομένουσιν αὐτὸ ἐν ἡμέρα θλίψεως. AP XI — O.

[1]) *Berč.* блгъ. — [1]) *hl.* трьпещемь его, *Vostokov* блгостнвъ гь трьпѧщннмъ емꙋ.

1, 15 празднsocн[1]) глѧ нюдо празднккы[2]) своꙗ (269в — рнı) — Ἑόρταζε, λέγων, Ἰούδα, τὰς ἑορτάς σου.

[1]) Jagić A A p. III., 90, považuje slova праздьновати ἑορτάζειν, праздьникь ἑορτή za vžitá již mezi lidem.

2, 1 ꙗко възнде домꙋ ї на лнце твое (269в — рнı) — ὅτι ἀνέβη ὁ ἐμφυσῶν εἰς πρόσωπόν σου. AP XI — O.

Habakuk

1, 13 что[1]) око не возрѣти[2]) зла[3]). и прізирати[4]) на троуды и болѣзни[5]) (133a — ӣд) — Καθαρὸς ὀφθαλμὸς τοῦ μὴ ὁρᾶν πονηρὰ, καὶ ἐπιβλέπειν ἐπὶ πόνους ὀδύνης.

[1]) *hl.* ч(ис)то, *AP XI* чисто. — [2]) *hl.* видѣти, *AP XI* зрѣти, *K.* вꙇдѣ. — [3]) *hl.* лоукавна. — [4]) *K.* взирати. — [5]) Toto slovo v hl. schází, ačkoliv řecký text u Migne a u Vajse je stejný (J. Vajs, Propheta Habacuc, 30).

2, 3 аще лиши тѧ[1]) потерпи и.[2]) зане[3]) грѧдꙑи приидеть и не оумоудить[4]) (177в — ѕ҃з) — Ἐὰν ὑστερήσῃ ὑπόμεινον αὐτόν. ὅτι ὁ ἐρχόμενος ἥξει, καὶ οὐ χρονιεῖ. AP XI — O.

[1]) *hl.* закаснить, *K.* оумоудить. — [2]) *K.* прѣтерьпи емꙋ. — [3]) *hl.* ѣко. — [4]) *hl.* и не имать закаснити = řec. καὶ οὐ μὴ χρονίσῃ.

2, 6 лютѣ[1]) множащемоу[2]) ѥ себе не соущиихъ[3]) его (29a — н҃) — Οὐαὶ ὁ πληθύνων ἑαυτῷ ἃ οὐκ ὄντα αὐτοῦ.

[1]) *hl.* горе. — [2]) *hl.* множен себѣ, *K.* множан. — [3]) *hl.* не соуща, *K.* соущаа.

2, 9 лихоимлѧи лихоиманье зло домоу своемоу (29a — н҃) — Řecký text u Migne schází, Lach má: ὢ ὁ πλεονεκτῶν πλεονεξίαν κακὴν τῷ οἰκίῳ αὐτοῦ

2, 15 лютѣ рече напаꙗющемоу искрьнѧго своего прѣтчѣньемь грѣзномь (123a — м҃ѯ) — Οὐαὶ, φησὶν, ὁ ποτίζων τὸν πλησίον αὐτοῦ ἀνατροπὴν θολεράν.

Sofoniáš

2, 3 соудъ творите[1]) и правдꙑ ищѣте[2]) да покровенꙑ[3]) боудете[4]) оу днь гнѣва гнѧ (172a — ѕ҃е) — Κρῖμα ἐργάζεσθε, καὶ δικαιοσύνην ζητήσατε, ὅπως σκεπασθῆτε ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς Κυρίου.

[1]) *hl.* садѣите, *AP XI* дѣлаите, *Syn.* съдѣите — [2]) *hl.* взищѣте, *Syn.* възищѣте. — [3]) *AP XI* покровени, *Syn.* да покрыете сѧ. — [4]) *hl.* да покрыете се.

3, 7 боите сѧ мене и приимѣте наказанье[1]). и не имать потрѣбити сѧ (189a — п҃в) — Φοβεῖσθέ με καὶ δέξασθε παιδείαν, καὶ οὐ μὴ ἐξολοθρευθῆτε.

[1]) Isa. 50₄ Pgr наказаниѥ, *K.* наоучениѥ.

3. 9 работаите гоу подъ игомь ѥдинѣмь (189a — п҃в) — τοῦ δουλεύειν Κυρίῳ ὑπὸ ζυγὸν ἕνα.

3, 17 наведеть на тѧ весѣлье (269в — р҃ѯі) — Ἐπάξει ἐπὶ σὲ εὐφροσύνην.

Zachariáš

3, 17 въ повелѣньихъ моихъ ходите. и заповѣди моꙗ схраните (261a — р҃ді) *Syn.* аще в поути мое идеши, и аще повелѣниѣ моѣ схраниши; *hl.* аще в поути мое идеши, и аще повелѣниѣ моѣ схраниши — Ἐν ταῖς ὁδοῖς μου πορεύῃ καὶ ἐν τοῖς προστάγμασίν μου ψυλάξῃ.

5, 4 внидеть клѧтва оу домъ татинъ. и оу домъ ротиичь[1]). и витаѥть посрѣдѣ домꙋ его (105a — м҃) — Καὶ εἰσελεύσεται ἡ ἀρὰ εἰς τὸν οἶκον τοῦ κλέπτου, καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ ὀμνύοντος, καὶ καταλύσει ἐν μέσῳ αὐτοῦ.

[1]) *AP XI* ретьничь. *Miklosich,* Lexicon palaeosl. 809 ротьникъ qui iurat, ἐπίορκος, periurus.

7,9 соудъ правденъ соудіте. мл҃ть и щедротꙑ творите кождо ко искрьнемоу своѥмоу (161a — ѕ҃) — Κρῖμα δίκαιον κρίνατε, καὶ ἔλεος καὶ οἰκτιρμὸν ποιεῖτε[1]) ἕκαστος πρὸς τὸν ἀδελφὸν[2]) αὐτοῦ. — соудомь праведнꙑмь соудите. мл҃ть и щедротꙑ творите кождо братоу своѥмоу (34в — л҃і) — [1]) ποιήσατε, [2]) πλησίον.

8, 16 глѣте истиноу кождо искрьнемоу своемоу[1]) и соудъ мирень соудите (152a — ѯе) — Λαλεῖτε ἀλήθειαν, ἕκαστος πρὸς τὸν πλεσίον αὐτοῦ, καὶ κρῖμα εἰρηνικὸν κρίνατε.

[1]) *AP XI* къ искрьниимъ своимъ.

8, 17 кождо злобы не помышлѧите оу срдцихъ вашихъ (129a — кв) клѧтвы ложны не любите (148a — ѯв) — Κακίαν ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ μὴ μνησικακείτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν. Ὅρκον ψευδῆ μὴ ἀγαπᾶτε.

8, 19 истиноу и миръ любите (148a — ѯв) — τὴν ἀλήθειαν δὲ, καὶ τὴν εἰρήνην ἀγαπᾶτε.

9, 17 аще что благо то того. аще чьто добро ѿ того (268в — рѯі) — Εἴτι ἀγαθὸν, αὐτοῦ· καὶ εἴ τι καλὸν, παρ' αὐτοῦ.

Malachiáš

1, 6 снъ славить ѿца. и рабъ гна своего аще оць азъ есмь кде есть слава моꙗ. аще ли гь есмь кде есть страхъ[1]) мои (94в—95a — ле) — Υἱὸς δοξάζει πατέρα, καὶ δοῦλος τὸν κύριον αὐτοῦ. Καὶ, Εἰ πατὴρ ἐγώ εἰμι, ποῦ ἐστιν ἡ δόξα μου; καὶ εἰ κύριός εἰμι, ποῦ ἐστιν ὁ φόβος μου.

[1]) *hl.* боѣзнь, *Syn.* боꙗзнь. V paramejním překladě proroka Isa. 8₁₃ страхъ a боѣзнь se vyskytují vedle sebe, v komentovaném боꙗзнь (Jevsejev, op. cit. 112).

2, 6 въ мирѣ исправлѧꙗ ходї со мноѭ. и многы възврати ѿ неправды (282в — ркд) — Ἐν εἰρήνῃ κατευθύνων ἐπορεύθη μετ' ἐμοῦ, καὶ πολλοὺς ἐπέστρεψεν ἐξ ἀδικίας.

2, 7 оустнѣ чтлвкѣ да хранита разоумъ. и закона[1]) оузищють изъ оустъ его зане англъ гнь вседержителѣ[2]) есть (282в — ркд) — Χείλη ἱερέως φυλάξει γνῶσιν, καὶ νόμον ἐκζητήσουσιν ἐκ στόματος αὐτοῦ, διότι ἄγγελος Κυρίου παντοκράτορος ἐστιν.

[1]) *AP XI* законъ. — [2]) *AP XI* гā вседрьжителѧ.

3, 5 и боудоу ре свѣдѣтѣль скоръ[1]) на кльноущаꙗ сѧ именемь моимь (148 — ѯв) — Καὶ ἔσομαι, φησὶν, μάρτυς ταχὺς ἐπὶ τοὺς ὀμνύοντας τῷ ὀνόματί μου.

[1]) *Berč.*, *Vostokov:* свѣдѣтель скорь, *AP XI* ꙗдръ.

4, 2 ꙗко восьꙗеть намъ[1]) боꙗщимъ сѧ гь[2]) слнце правды изидеть[3]) и възыграеть сѧ[4]). ꙗкоже телѧта оурѣшена ѿ оузъ (289a — ркз) — Καὶ ἐξελεύσεσθε, καὶ σκιρτήσετε ὡς μοσχάρια ἀνειμένα ἐκ δεσμῶν.

[1]) *AP XI* и вамъ. — [2]) *AP XI* гā. — *AP XI* изидѣте. — [3]) *AP XI* възиграетесѧ.

Lexikální rozdíly mezi citacemi z AP 1307 a textem komentovaným jsou průkazné především tam, kde bylo po ruce komentované vydání příslušných proroků, a to u Oseáše, Joela, Amose, do jisté míry také u Abdiáše (tento prorok je zastoupen jen dvěma větami a druhá věta (1, 7, 15) v textu komentovaném schází).

Oseáš

1, 9 нарекоу καλέσω — *K.* прозови; 1, 10 нарекоутсѧ κληθήσονται — *K.* прозоветесѧ; 4, 11 пьꙗньсътва μέθυσμα — *K.* пьꙗничьство, пождеть ἐδέξατο — *K.* прїатъ; 4. 12 любодѣꙗньꙗ πορνείας — *K.* блѫжденїа; 4, 14 разоумѣюще ὁ συνιών — *K.* съмыслѧщии; съ любодѣницею μετὰ πόρνης — *K.* съ блѫдницею; 4, 15 нѣ кльнѣте сѧ μὴ ὀμνύετε — *K.* нѣ кланѧите; 4, 18 любы дѣю-

щен πορνεύοντες — K. блѫдѧще; излюбодѣꙗша ἐξεπόρνευσαν — K. възблоудиша; 5, 4 любодѣꙗнꙑꙗ πορνείας — K. блѫжденꙗ; не познаша οὐκ ἔγνωσαν — K. не оувѣдѣша; 6, 3 познати γνῶσαι — K. оувѣдѣти; 6, 6 зане διότι — K. имьже; жертвѣ θυσίαν — K. трѣбѣ; познанью ἐπίγνωσιν — K. оувѣдѣнїе; 12, 6 храните φυλάσσου — K. сънабди; воинноу διὰ παντός — K. присно; 13, 9 растлѣнью τῇ διαφθορᾷ — K. въ расыпанїе.

Joel

1, 5 истрѣзвѣте ἐκνήψατε — K. оутрѣзвитесѧ; оупивающе сѧ μεθύοντε — K. пьꙗнїи; 1, 9 рыданте πενθεῖτε — K. плачите сѧ; чтители οἱ ἱερεῖς — K. жерци; 1, 10 пострада τεταλαιπώρηκεν — hl. острастише се; 1, 14 пощѣнье νηστείαν — K. ал'канїе; слоужѣнье θεραπείαν — K. цѣлбꙋ; 1, 15 оувꙑ οἴμοι — K. оу лютѣ, hl. горе; 2, 12 пощѣньемь νηστείᾳ — K. алчьбою; воплемь ἐν κοπετῷ — K. съ желею; 2, 13 растерзнѣте διαῤῥήξατε — K. раздрьзѣте; каѧ сѧ μετανοῶν — K. раскаваꙗсѧ; 2, 17 стли οἱ ἱερεῖς — K. жерци; достоꙗньꙗ κληρονομίαν — K. часть; на поношѣнье εἰς ὄνειδος — K. на оукоризноу.

Amos

2, 7 боꙗи ἐκονδύλιζον — K. потыкахоусѧ; оуклониша ἐξέκλιναν — K. съвращааху; 2, 8 ѿ клеветъ ἐν συκοφαντιῶν — K. блогъ, ѿ облогъ; 2, 15 оугонзеть διασωθῇ — K. оуцѣлѣеть; 5, 11 избраноу ἐκλεκτὰ — K. изборнꙋ; 5, 13 во врѣмѧ ἐν τῷ καιρῷ — K. въ годъ; разоумѣваꙗ ὁ συνιὼν — K. съмыслѧи; помолчить σιωπήσεται — K. прѣмлъчить; 5, 18 желающемоу ὁ ἐπιθυμῶν — помышлѧющиимь; 8, 5 мѣрило ζυγὸν — K. прѣвѣсьнѧ; 8, 11 грѧдоуть ἔρχονται — K. идоуть.

Abdiáš

1, сѣть ἔνεδρα — K. лесть.

Micheáš

Starší (metodějská) lexikální vrstva u proroka Micheáše se projevuje na několika místech. Ve srovnání s parimejním překladem proroka Isaiáše je patrno, že оправдѧть сѧ 6, 11 pro řecké δικαιωθήσεται je starší nežli оправити, оправдити pro δικαιόω v komentovaném textu Isaiáše (Jevsejev, op. cit. 127). Překlad въ мѣрилѣ 6, 11 pro řecké ἐν ζυγῷ, jak to bylo konstatováno u Amose 8, 5, je charakteristický pro parimejní překlad. Slovo врѣтище 6, 11 — K. Isa. 46, 6 мѣхъ pro řecké μαρσίππιον je podle Jagiće *Entst.* 473 doloženo v překladech parimejních a hlaholských. Slovo искрьнѧго 7, 3 pro řecké τὸν πλησίον patří, jak to bylo zjištěno u proroka Hab 2, 15, ke slovům parimejní redakce. Ve stejné větě slovesu оутѣшаеть pro řecké ἐκθλίβει odpovídá v komentovaném textu Isa 29, 2 заблити (Jevsejev, o. c., 142). Ve větě 7, 5 řecké (μὴ) καταπιστεύετε je přeloženo dvěma slovy (не) имѣте вѣрꙑ, což je charakteristické pro parimejní redakci (Jevsejev, op. cit. 13).

Uvedené příklady potvrzují, že staroslověnské citace z Micheáše v AP patří k starším překladům.

Nahum

Ze tří vět proroka Nahuma parimejní překlad je charakterisován jen slovem бл҃гъ pro řecké χρηστός, jemuž odpovídá v komentovaném textu бл҃гостивъ, jak to čteme u Nahtigala op. cit. 37. Hlaholský text u Berčiće souhlasí s textem AP.

Habakuk

1, 13 прїзирати ἐπιβλέπειν — *K.* взирати; возрѣти ὁρῶν *hl.* видѣти, *K.* види; 2, 3 лиши тѧ ὑστερήσῃ — *K.* оумоудить, *hl.* закаснить. Jagić *AAp.*, II. 75 pro ὑστέρημα v nejstarších textech uvádí jen лишеник; 2, 15 искрьнаго πλησίον — *K.* Isa 3, 5 подроугъ (Jevsejev, op. cit. 107).

Sofoniáš

3, 7 наказаньк παιδείαν — *K.* Isa 50, 4 наоученик.

Zachariáš

7, 9 искрьнемоу πρὸς τὸν ἀδελφόν, 8, 16 πρὸς τὴν πλησίον.

Malachiáš

3. свѣдѣтѣль μάρτυς — *K.* Is послоухъ; скоръ AP 1307, а ıадръ v AP XI pro ταχύς.

Obě slova jsou stará synonyma. Jagić, *Entst.* 419 podotýká, že ıадро je charakteristické pro Mar a Nik evangelium a скоро pro As, Ostr a Sav.

Ale na několika místech překladu citací Malých Proroků v AP nacházíme stopy vlivu simeonovské komentované redakce. K této redakci patří slova:

1. всесъжагаемыхъ Os 6, 6 místo олокавтоматъ ἢ ὁλοκαυτώματα; 2. чтители místo иерѣи οἱ ἱερεῖς; 3. лютѣ místo горе οἴμοι Am 5, 18, οὐαί Habakuk 2, 6, 15, — vedle toho оувы οἴμοι Joel 1, 15, охъ мьнѣ οἴμοι Mich 7, 2, 4. оубогыхъ místo нищихъ πτωχῶν Am 2, 7, ačkoliv ve větě 5, 11 je нищихъ. U proroka ls 61, 1 pro parimejní překlad máme нищь, pro komentovaný оубогъ (Jevsejev, op. cit. 121). Jagić, *AAp* II. 75 podotýká, že v Ap. se оубогъ pro πτωχός vůbec 4, nevyskytuje.

Místo иерѣи nacházíme u Joela 2, 7 ст҃ли. Jagić, *AAp.* II. 38 praví, že иереи je příznačné pro texty evangelské. Naproti tomu v Apoštolu se často místo иереи objevuje свѧтитель, ale je to pozdější záměna původního иереи. свѧтитель je známo i z ev. Dečanského (srov. Jagić, Mar. str. 9. 27, 10. 19).

Tímto rozborem citací deseti malých proroků v Antiochových Pandektech z r. 1307 a také AP z XI. stol. se potvrzuje mínění, které vyjádřil I. Jevsejev při hodnocení citací z proroka Isaiáše v Antiochových Pandektech XI. s ol. (o. c. 155,2), že nehledě na blízkost originálů komentovaných proroků a AP, překladatel Antiochova díla užíval překladů parimejních. Na všech citacích z deseti Malých Proroků bylo možno konstatovati velikou blízkost k staroslověnskému slovníku parimejní a metodějské redakce. Překladateli Antiochova díla byl již znám též komentovaný překlad, z kterého sem tam čerpal nové východobolharské výrazy.

Ivan Paňkevič (Praha)

Číslice v Assemanově kodexu

Miloš Noha (Praha)

Ve své znamenité *Rukověti hlaholské paleografie* (Praha 1932) zaznamenává náš vzácný jubilant toto pozorování o Assemanově kodexu: „Písař tohoto kodexu psává, byť i ne důsledně, nad jednotkami titlu jednu, nad desítkami dvě a nad stovkami i tři titly; tak na l. 24r ⱁⰸ (bez teček) = 89; na l. 49v ⰾ = 50; ale na l. 51v ⰾⰳ = 54. Na l. 49r ⱄⰻⰳ = 224, ale na l. 71r ⱄⰻⰶ = 227 nebo na l. 23v ⱃⰱ = 102, vesměs bez teček“ (str. 111).

Že nad číslicemi bývají v hlaholských i v cyrilských památkách dvě nebo i tři titly, není nic nového. Příklady z Ass uvedl v úvodu svého vydání už Črnčić (*Assemanovo izbornô evangjelje,* 1878, VIII a hlavně XXX) a zmínky o tom jsou i jinde, na př. v Karského vydání zlomků Undoľského (*Листки Ундольского,* 1904, 17) nebo v cyrilské paleografii téhož autora (*Славянская кирил. палеография,* 1928, 231, pozn. 2). Ale nikdo, pokud vím, před Vajsem neupozornil na to, že by bylo počtu titel použito k vyznačení číselných řádů. Proto zasluhuje tato věc podrobnějšího rozboru, a to v širším rámci výkladu o způsobech, jak se vůbec píší číslice v Ass. Připomínám výslovně, že dosti příkladů na různé způsoby psaní číslic v Ass má už Črnčić o. c., XXX, ale jeho materiál není úplný a nedostačuje na přesnou představu o naší otázce. Takovou představu nám nyní umožňuje Vajsovo-Kurzovo fototypické vydání (*Evangeliář Assemanův* I, 1929), v němž je rukopis celkem velmi dobře reprodukován. II, 1955 (cyrilský přepis; protože vydavatel nepořídil přepis jen podle fototypií, nýbrž především podle rukopisu samého, podává přepis na leckterých místech, kdy fototypie selhávají pro vadu reprodukce, lépe znění rukopisu. Příklady přepisuji, jak je obecně zvykem, cyrilicí, a hlah. písmen užívám jen tam, kde je důležitý tvar písmene (při přepise hledím jen k abecednímu významu písmen, nikoli k jejich číselné hodnotě, a tedy na př. hlah. ⰼⰴ přepisuji ћд, a nikoli ле, jak to činí na př. Sever'janov ve vydání Ps Sin). Nadřádkové značky zpravidla vypouštím.

Ass je velmi bohatý na číslice. Napočítal jsem v něm 724 číselných údajů napsaných číslicemi. V tomto počtu není zahrnuto 28 čísel pro mne buď vůbec nečitelných (ale obsažených na příslušných místech v Črnčićově vydání) nebo čitelných jen nedostatečně; tyto případy jsem nemohl už kontrolovat podle Kurzovy edice (že by se i mezi nimi daly nalézt zajímavé věci, ukazuje na př. doklad 50b 11, pro mne nedostatečně čitelný, kde jsou podle Kurze u čísla из dvě titly nad druhou číslicí a jedna titla nad první). Dále tu nejsou počítána čísla označující kvaterniony a seznamenaná u Vajse-Kurze str. VIII (k tomu je třeba upozornit, že číslice в na l. 17 má zřetelně dvě titly, číslo ві na l. 93 je napsáno ligaturou s jednou společnou titlou a v číslech ді a єі na l. 109 a 117 je ovšem ι, nikoli ı; viz i Črnčić str. VIII). A konečně jsou pominuty i číslice v různých připiscích, na př. in margine sl. 94b a pod.

Z uvedeného počtu 724 případů je plných 646 číselných údajů napsáno způsobem úplně stejným: každá číslice má jednu titlu, a je-li číslo vícemístné (s hlediska hlaholského písma), jsou jednotlivé číslice napsány vedle sebe, někdy s nepatrným vzájemným posunutím po výšce, a číslice vyššího řádu stojí více vpředu; jen ovšem číslice ι stojí za číslicí pro jednotky, a to vždy. Tečky u čísel jsou jen velmi zřídka, na př. 86a 21 :д: a hned o dva řádky níže :є: (Mt 25,15). Zpravidla jsou číslice stejně velké jako sousední text, ale na konci řádků nejednou vidíme, že písař, tísněn místem, ve snaze zachovat pokud možná stejnou délku řádků, píše všechny nebo jen poslednější číslice menšími literami; na př. 32d 1 je číslo ροд napsáno celé písmeny asi polovičními proti předcházejícímu textu, nebo 45b 22 je v čísle ρπє výška jednotlivých číslic v poměru asi 4 : 3 : 2. Menší rozměry číslic na konci řádků pozorujeme ovšem i v případech odchylného psaní čísel, jak je o něm řeč níže. Naopak je tu a tam číslice o něco větší než okolní text, na př. д na citovaném místě 86a 21 je asi o polovinu větší než jiné д v témž řádku.

V několika případech, kde písmo na fototypii není dost jasné, mám pochybnosti, zda nad číslicí titla vůbec je (na př. 52a 29 u ћ v čísle ћѕ), nebo naopak zda nad jednou titlou nejsou ještě zbytky druhé titly (na př. 21b 18 nad číslicemi οз). V rukopise je však ve všech těchto případech nad každou číslicí po jedné title, jak ukazuje Kurzův přepis; jen 126a 5 v čísle ρκє nemá ρ ani podle Kurze titlu a titla nad κ je částečně protažena i nad ρ, takže by tento případ vlastně patřil mezi případy odchylného psaní titel.

Jiná nadřádková znaménka než titly, v Ass jinak hojná, nad číslicemi nikdy nejsou; jen 135b 12 je u čísla иѕ nad и pod titlou zřetelný gravis.

Jednotlivé kategorie čísel jsou v 646 „normálních“ případech zastoupeny takto:

jednomístných čísel je 341, z toho jednotek 275, desítek 65 a stovka jen jedna (ρ 32d 22, Mt 18,12);
dvoumístných čísel je 242, z toho desítek s jednotkami 212, stovek s jednotkami 12, stovek s desítkami 18;
trojmístných čísel, stovek s desítkami a jednotkami, je 63.

Proti těmto normálním případům je 78 případů zvláštních, v nichž jsou čísla napsána jinak než bylo uvedeno svrchu. Odchylky záležejí v počtu nebo umístění titel, v použití ligatur, ve vzájemné poloze číslic (číslice nejsou vedle sebe, nýbrž nad sebou) a v kombinaci dvou nebo všech tří uvedených druhů odchylek.

Probereme nyní všechny odchylné případy. Nejprve uvedeme materiál; jednotlivé způsoby psaní čísel označíme pořadovými arabskými čísly a znázorníme jakousi schematickou formulí, v níž budou písmena S, D, J znamenat číslice pro stovky, desítky a jednotky, exponenty u těchto písmen počet titel nad příslušnou číslicí (0 = bez titly), * před formulí jednu titlu přes celé číslo nad titlami jednotlivých číslic, a hranaté závorky ligaturu; v případech, kde jsou dvě číslice napsány nad sebou, je i vzájemná poloha číslic ve formuli zachována.

Typy 1—4 jsou u čísel jednomístných, 5—20 u dvoumístných a 21—32 u trojmístných.

1. J²: д 50b 10, є 75c 27, г 142a 25 (до осми десѧтъ и г лѣтъ, L 2, 37), з 59c 15. Sem patří též označení kvaternionu na listě 17 (v. výše).

2. D²: і 106b 22 (na okraji) a 40a 7a (обѣма на іте, Mt 11,1; v tomto sloupci je třeba rozlišovat řádek 7a, b); н 35b 1 (malé písmeno v horní části řádku); к 112d 19; л 38b 14, 43c 17, 44b 12 (zde je oblouková titla nad následujícími zkratkami $\frac{\text{вт}}{\text{єѡ}}$ protažena i nad л), 46b 26 (s dolní titlou málo zřetelnou a horní takřka nečitelnou), 47c 16, 48b 14, 49a 14, 49c 15, 141a 23; н 39b 3.

3. J³: jediný doklad д 22b 6; zde je však ve skutečnosti číslo 5000, д тысѫщъ (J 6,10).

4. [J¹] je jistě velmi řídký případ, kdy jednomístné číslo je spojeno v ligaturu s prvním písmenem následujícího slova, vyjadřujícího počítaný předmět: з вонн 141a 29.

5. * J¹D¹: ді 44b 12; кі 45b 23, a snad i 45a 17 (zde je z horní titly, je-li tu vůbec, vidět jen oba konce, zvláště pravý).

6. J²D²: ві 38d 23 (Mt 9,20).

7. D²J²: кд 52d 18; мд 35c 19; пб 23a 19 (malé litery v horní části majuskulního řádku; б je o něco níže a jeho levý okraj je pod kličkou písemene п).

8. D²J¹: од 31d 8 a оз 24b 5.

9. S²J¹: рб 23c 24; рз 27b 27 (zde však je možná i nad р jen jedna titla); сж 103c 20.

10. D¹J²: jediný doklad пз 58b 21 na konci řádku. Číslice zde nejsou vedle sebe, nýbrž šikmo k sobě; ovál písmene з je totiž pod očkem písmene п a asi ve výši tohoto očka jsou dvě kratičké titly nad kroužkem písmene з. Celek působí dojmem jakési stylisace.

11. D⁴J²: кж 36a 27.

12. [J¹D¹]: ві 122b 18 a 139b 2; ді 141a 20 a 153b 10.

13. [J²D¹]: гі 47c 16, doklad nejistý, neboť je možné, že také і má dvě titly, takže by tu byl typ [J²D²].

14. $\frac{J^1}{D^1}$: $\frac{\text{д}}{\text{і}}$ 65c 26; $\frac{\text{ѕ}}{\text{і}}$ 112d 22; $\frac{\text{з}}{\text{н}}$ 146a 5; $\frac{\text{з}}{\text{о}}$ 114a 2; $\frac{\text{є}}{\text{п}}$ 39c 22.

15. $\frac{J^1}{S^1}$: $\frac{\text{д}}{\text{с}}$ 63a 24 (o tomto dokladě viz ještě níže).

16. $\frac{D^1}{S^1}$: $\frac{\text{н}}{\text{р}}$ 47c 16.

17. $\frac{J^2}{D^0}$: $\frac{\text{д}}{\text{і}}$ 43c 17; $\frac{\text{д}}{\text{і}}$ 49a 14 a 140a 14; $\frac{\text{г}}{\text{м}}$ 54b 18.

18. $\frac{J^1}{D^0}$: $\frac{\text{б}}{\text{і}}$ 106d 12 (na levém okraji), 146a 1 a 146a 3; $\frac{\text{з}}{\text{ћ}}$ 33c 26.

19. $\left[\frac{J^2}{D^0}\right]$: $\frac{\text{ж}}{\text{і}}$ 75b 10, 120a 22 a 129b 15.

20. $\left[\frac{J^1}{D^0}\right]$: $\frac{\text{ж}}{\text{і}}$ 67c 20, 129b 22, 141a 17 (nadepsáno), 142b 17. Tatáž ligatura označuje kvaternion na l. 125; tu je patrně bez titly.

21. S²D²J²: ркѕ 30c 6.

22. S¹[J¹D¹]: тзі 103c 13.

23. *S¹[J¹D¹]: сзі 46b 26.

24. $\frac{J^1}{S^1D^1}$: $\frac{\text{ѕ}}{\text{рі}}$ 129b 25; $\frac{\text{є}}{\text{рл}}$ 99d 2 a 101c 7; $\frac{\text{г}}{\text{рм}}$ 60c 27 (г nad pravou částí м); $\frac{\text{є}}{\text{тћ}}$ 154b 10.

25. $\frac{S^1D^1}{J^1}$: $\frac{\text{рн}}{\text{д}}$ 58d 7.

26. $\frac{D^1J^1}{S^1}$: $\frac{\text{лб}}{\text{т}}$ 111c 5.

27. $\genfrac{}{}{0pt}{}{S^1}{D^1J^1}$: $\genfrac{}{}{0pt}{}{\text{т}}{\text{лд}}$ 111a 20 (лд je pod úrovní řádku).

28. $\genfrac{}{}{0pt}{}{J^2}{S^2D^2}$: $\genfrac{}{}{0pt}{}{\text{з}}{\text{ро}}$ 43c 17

29. $\genfrac{}{}{0pt}{}{J^1}{S^2D^1}$: $\genfrac{}{}{0pt}{}{\text{є}}{\text{рђ}}$ 30b 16.

30. $\genfrac{}{}{0pt}{}{J^2}{S^1D^1}$: $\genfrac{}{}{0pt}{}{\text{ѕ}}{\text{сı}}$ 64b 4.

31. $\genfrac{}{}{0pt}{}{S^3D^2}{J^1}$: $\genfrac{}{}{0pt}{}{\text{сн}}{\text{г}}$ 49a 14 (napsáno malými písmeny v horní části majuskulního řádku; charakteristický doklad Vajsův).

32. $S^1\begin{bmatrix}J^1\\D^0\end{bmatrix}$ $\genfrac{}{}{0pt}{}{\text{ж}}{\text{рı}}$ 141b 11 a $\genfrac{}{}{0pt}{}{\text{ж}}{\text{тı}}$ 104c 15.

Jak je vidět z uvedeného materiálu, vyskytují se nejčastěji odchylky v počtu titel. Vůbec jen počtem titel se od normálního způsobu psaní liší typy 1—3, 5—11 a 21, zastoupené celkem 34 doklady, tedy více než dvěma pětinami všech dokladů nepravidelného psaní. Mimo to jsou odchylky v počtu a uspořádání titel sdruženy s jinými odchylkami v dalších 14 dokladech typů 13, 17, 18, 23, 28 až 31 (nehledíme zde k typům 19, 20 a 32).

Ve čtyřech případech je nad titlami pro jednotlivé číslice titla přes celé číslo (typy 5 a 23; jeden případ je nejistý). Bude sotva náhodou, že se tato zvláštnost vyskytuje jen u čísel druhé dekády (аı, вı, сзı), tedy u čísel, u nichž je obecná zásada, že číslice vyšších řádů se píší více vlevo, prolomena. Snad má titla nad celým číslem upozorňovat, že číslo není po číslici pro jednotky ještě u konce.

U typů 1 a 2 (J^2 a D^2) zasluhuje pozornosti, že typ D^2 se absolutně i relativně vyskytuje mnohem častěji než J^2. Typ D^2 má 14 dokladů, typ J^2 jen 4; případů pravidelného psaní je však u desítek 65, kdežto u jednotek 275. V procentech je poměr mezi doklady se dvěma titlami a doklady pravidelného psaní u jednotek 1,45 %, u desítek 21,54 %, tedy skoro 15krát větší. Docela obdobně je tomu u typů 8 a 9. Typ D^2J^1 má 2 doklady, typ S^2J^1 3; proti tomu je případů pravidelného psaní u desítek s jednotkami 212, u stovek s jednotkami 12. Poměr v procentech je tedy u čísel DJ 0,94 %, kdežto u čísel SJ plných 25,00 %.

Zřetelně se dále projevuje pravidlo, že u vícemístných čísel nemají číslice nižšího řádu větší počet titel než číslice řádu vyššího. Je tedy na př. možný typ D^1J^1 (pravidelné psaní), D^2J^2 (typ 7) nebo D^2J^1 (typ 8), nikoli však D^1J^2. Tři případy odporují tomuto pravidlu: typy 10, 13 a 30. O prvním z nich byla řeč už výše. V typu 13 mohou být dvě titly nad jednotkami napodobením případů s číslicemi napsanými nad sebou a dvěma titlami nad horní číslicí (je to vždy číslice pro jednotky; typy 17 a 19); typ 13 je totiž „šikmá" ligatura, tedy jakýsi přechod k uspořádání $\genfrac{}{}{0pt}{}{J}{D}$; krom toho je tento doklad nejistý (v. výše). Také v typu 30 jsou dvě číslice nad sebou; mimo to zde písař napsal ѕ tak těsně nad ı, že titla mezi oběma písmeny splynula s horní vodorovnou čarou písmene ı a jen na pravé straně ji poněkud pře-

sahuje; tak třeba písař místo nepodařené titly mezi oběma písmeny napsal ještě jednu titlu nad nimi.

Ligatury jsou doloženy jen u čísel druhé dekády, a to u těch, u nichž je možné spojit v ligaturu číslici pro jednotky s číslicí ⰹ, tedy u čísel 13, 14, 15, 17 a 19. Spojení záleží u ⰲ, ⰳ a ⰴ v tom, že pravý kroužek těchto písmen splývá s levým kroužkem písmene ⰹ; obdobně je tomu u ⰸ + ⰹ — v Ass je totiž ⰸ psáno s úklonem nalevo a s kroužkem v horní části řádku. U ⰶ konečně se oba kroužky kryjí s kroužky písmene ⰹ. Tím je též určena vzájemná poloha obou písmen v ligatuře: ⰲ a ⰸ + ⰹ dávají ligaturu „vodorovnou“, v níž jsou písmena vedle sebe, ⰳ a ⰴ + ⰹ ligaturu „šikmou“, v níž je první písmeno zároveň o něco výše než druhé, a ⰶ + ⰹ ligaturu „svislou“, v níž jsou písmena nad sebou. Jednou je ve „vodorovnou“ ligaturu spojena číslice ⰸ s písmenem ⰲ jímž začíná následující slovo (typ 4); spojení je tu stejné jako u ⰸ + ⰹ.

Psaní číslic nad sebou se vyskytuje hlavně na konci nebo blízko konce řádků a důvodem je tu šetření místem, jak jsme se o tom zmínili už výše. I zde bývají číslice často menší než předcházející text. Nicméně je také několik příkladů na dvoumístná čísla tohoto druhu uvnitř majuskulních řádků v rubrikách; dolní číslo je pak celkem stejně velké jako okolní písmena, horní je menší.

Číslice nad sebou nalézáme v číslech dvoumístných i trojmístných. U dvoumístných je číslice vyššího řádu vždy dole. U trojmístných čísel jsou nad sebou napsány jen dvě číslice, a třetí číslice je před touto dvojicí nebo za ní, v úrovni horní nebo dolní číslice. Číslice tu jsou tedy seřazeny jaksi do dvou sloupců: v jednom sloupci je jedna číslice, v druhém dvě. Pořadí číslic v celé trojici je vždy přesně podle řádů: číslice pro stovky je vždy v prvním sloupci, číslice pro jednotky v druhém; a je-li číslice pro stovky nahoře, je číslice pro jednotky dole (uspořádání $^{SD}_{\ \ J}$, typy 25 a 31, nebo $^{S}_{DJ}$, typ 27) a naopak (uspořádání $^{\ \ J}_{SD}$, typy 24, 28—30, 32, nebo $^{DJ}_{S}$, typ 26). Nikdy není doloženo jiné pořadí (na př. $^{SJ}_{\ \ D}$). Nejčastěji (v 8 dokladech, a počítáme-li sem i typ 32, v 10 dokladech) se vyskytuje uspořádání $^{\ \ J}_{SD}$; uspořádání $^{SD}_{\ \ J}$ má dva doklady, ostatní dvě po jednom dokladě.

Ve všech případech, kdy jsou číslice napsány nad sebou, pozorujeme ještě jednu zajímavou věc: není tu rozdílu mezi čísly druhé dekády a čísly dekád ostatních, není tu tedy „inverse“ číslic v číslech druhé dekády. Číslice ι je vždy na témž místě jako ostatní číslice pro desítky, t. j. u dvoumístných čísel dole, u trojmístných „mezi“ stovkami a jednotkami. Uspořádání $^{J}_{D}$ je doloženo 8krát a $\left[^{J}_{D}\right]$ 7krát pro D = ι, a 5krát s jinou číslicí pro desítky. Podobně je u trojmístných čísel ve 2 dokladech a s typem 32 ve 4 dokladech „střední“ číslicí ι, v 10 dokladech pak jiná číslice pro desítky. Je jasné, že taková bezvýjimečná pravidelnost nemůže být náhodná. Vyložit ji je ovšem dosti nesnadné. Mohli bychom se na př. domnívat, že psaní číslic nad sebou zavedl do rukopisu opisovač, kterému byla cizí inverse číslic u čísel druhé

dekády; kde ponechal vzájemnou polohu číslic beze změny, neměnil ani jejich pořadí a číslice napsané v předloze vedle sebe prostě mechanicky opsal; kde se však pro nedostatek místa a pod. rozhodl psát číslice nad sebou, upravil si také jejich pořadí po svém. Tento výklad má jistou oporu v případech s dodatečnou titlou přes celé číslo, jak jsme se o nich zmínili výše; i tyto případy, jak se zdá, ukazují, že pořadí JD bylo písařovi nezvyklé. Ale je možný i výklad daleko prostší, že se totiž písařovi písmeno ѫ svou širokou základnou a dokonalou symetrií podle svislé osy lépe líbilo naspodu řádku (také u trojmístných čísel je ѫ vždy dole, uspořádání $\overset{J}{SD}$).

O tom, jak písař našeho rukopisu pojímal skutečné pořadí číslic v těchto případech, mohla by nás poučit interpunkce za číslem. A priori bychom mohli soudit, že písař napsal interpunkční znaménko za tou číslicí, kterou pokládal za poslední. Ale při bližším přihlédnutí nelze z příslušného materiálu vyčíst nic určitého. V dvoumístných číslech je interpunkce za číslicí vyššího řádu v dokladech $\overset{ѕ}{ι}$, $\overset{є}{п}$ (typ 14), $\overset{г}{м}$ (typ 17) a $\overset{з}{ћ}$ (typ 18); za číslicí nižšího řádu v dokladech $\overset{з}{о}$ (typ 14), $\overset{д}{с}$ (typ 15), $\overset{н}{ρ}$ (typ 16) a $\overset{Б}{ι}$ 106d 12 (typ 18); ve výši mezery mezi oběma číslicemi v dokladě $\overset{Λ}{ι}$ 140a 14 (typ 17; ostatní čísla jsou bez interpunkce, a pokud je interpunkce za ligaturou $\overset{ж}{ι}$, je — také u trojmístných čísel s touto ligaturou — asi ve výšce kroužků). U trojmístných čísel je interpunkce za číslicí pro jednotky v dokladech $\overset{є}{ρλ}$ 99d 2, $\overset{г}{ρм}$ a $\overset{є}{тћ}$ (typ 24) a dále v dokladech typů 25—31; za jednotkami i za desítkami v dokladě $\overset{ѕ}{ρι}$ (typ 24). Důslednost, s níž se u trojmístných čísel setkáváme (10 dokladů s interpunkcí za jednotkami, žádný za desítkami, jeden za jednotkami i za desítkami), by nasvědčovala tomu, že v dokladě $\overset{ѕ}{сι}$ je skutečně míněno pořadí S-D-J; ale z jednoho dokladu nelze ovšem dělat bezpečné závěry.

Mohlo by se zdát, že případy s číslicemi napsanými nad sebou jsou prostě jakousi nouzovou odrůdou případů s číslicemi napsanými vedle sebe, odrůdou vynucenou nedostatkem místa. Zajímavý je v té příčině doklad $\overset{д}{с}$ (typ 15): levé konce obou titel jsou spojeny svislou čarou, jako by písař chtěl naznačit, že д patří za с, nikoli snad před ně. Přesto však musíme pokládat čísla s číslicemi napsanými nad sebou za zvláštní, samostatný způsob psaní čísel. Dosvědčují to zejména případy bez titly nad dolní číslicí (typ 17 a 18), neexistence inverse u čísel druhé dekády, ať je její příčina jakákoli, a přesnost v uspořádání číslic u trojmístných čísel se dvěma číslicemi napsanými nad sebou.

Konečně je také zajímavé, že některé druhy odchylek jsou soustředěny v těsné blízkosti jen v určitých částech rukopisu. Tak čtyři (nebo jen tři) případy s dodatečnou titlou přes celé číslo (typy 5 a 23) jsou seskupeny na sl. 44b až 46b, a v ostatní části rukopisu žádný podobný doklad není, ačkoli k nim bylo dost příležitosti. Nebo ligatury u dvoumístných čísel (typy 12, 13, 19 a 20) jsou doloženy celkem 12krát; z toho je 8 dokladů na str. 120a až 142b, a na týchž stranách je 14 dokladů normálního psaní stejných čísel (nepočítám zde tři doklady родовъ гıтє na l. 131a, Mt 1,17). Na zbytek rukopisu připadají pak 4 ligatury, ale případů normálního psaní je tu 23, tedy poměr 4 : 23 proti poměru 8 : 12 na uvedených stranách. Ještě zajímavější je stav u typů 6—9 a 11 (J^2D^2, D^2J^2, D^2J^1, S^2J^1, D^4J^2). Celkem mají 10 dokladů, ale z toho je plných 8 dokladů na listech 23—38. Dokladů normálně napsaných dvoumístných čísel je na týchž listech 7, tedy poměr 8 : 7. Naproti tomu je v ostatní části rukopisu poměr 2 : 235. Je zřejmé, že zde nelze mluvit o náhodě. Ale s druhé strany by bylo neopatrné, dělat z tohoto stavu nějaké vážnější závěry. Nejjednodušší výklad je ten, že tu jde o dočasné záliby písařovy, které se mohly projevit zvláště tehdy, konal-li svou práci po částech, s přestávkami.

Vracíme se nyní k původní otázce: máme důvody předpokládat, že písař Ass použil různého počtu titel k vyznačení číselných řádů? Myslím, že na tuto otázku budeme musit odpovědět kladně. Je sice jasné, že tu nemůže být řeči o nějaké pevné, důsledně prováděné zásadě, ale základní tendence se projevuje docela zřetelně, a tak lze sotva pochybovat o tom, že písař Ass někdy chtěl vědomě dvěma nebo i více titlami jaksi zdůraznit, vytknout číslice vyššího řádu. Dokazují to hlavně tyto skutečnosti: *a)* u typu 31 ($S^3\,{}^{D^2}_{J^1}$) je počet titel nad jednotlivými číslicemi trojmístného čísla v přesném vztahu k řádu číslic, a stejně tomu vlastně je i u typů 8, 9, a 11 (D^2J^1, S^2J^1, D^4J^2) čísel dvoumístných; *b)* u typu 3 upozorňují tři titly výrazně na to, že jde o velké číslo; *c)* typ 2 (D^2) je mnohem častější než typ 1 (J^2), a typ 9 (S^2J^1) mnohem častější než typ 8 (D^2J^1), jak jsme ukázali už výše; *d)* dostatečně jasně proniká pravidlo, že číslice nižšího řádu nemají víc titel než číslice řádu vyššího.

Z toho ze všeho plyne, že V a j s o v o pozorování uvedené v čele této stati je úplně správné. V této věci je Ass. mezi stsl. památkami unikem, právě tak, jako se mu žádná jiná stsl. památka nemůže rovnat rozmanitostí v psaní číslic.

Miloš Noha (Praha)

K překládání řeckého pasiva obraty s priimati - prijęti v staroslověnských a církevněslovanských památkách

Karel Haderka (Praha)

Staroslověnské památky jsou poměrně bohaté na prostředky ve vyjadřování pasiva, jak to umožňuje slovanská syntax. Vedle speciálních prostředků jazykových, formy reflexivní a složené formy pasivní (opisného pasiva) jsou zcela obvyklým prostředkem k vyjádření pasiva aktivní věty s obecným podmětem (снъ чскъı не приде да послоужѧтъ емоу· нъ послоужитъ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι Mc 10,45 Zogr Mar Sav Ass Ostr Archang Nik).[1]) Vedle toho se řecké synthetické pasivum překládá *konstrukcemi se slovesem priimati / prijęti, vyjadřujícím podrobení cizímu konání, + substantivum, vyjadřující povahu tohoto konání.*

V evangelních textech a v žaltáři jsou jen ojedinělé doklady na tyto obraty:[2])

и отъвѣтъ прiимъше въ сънѣ. не възвратиша сѧ къ иродоу. χρηματισθέντες κατ' ὄναρ Mt 2 12 Sav Ass Ostr Deč Nik.

вѣсть же прiимъ въ съ(н)ѣ. отиде въ странѫ галиле(иск)ѭѭ χρηματισθεὶς δὲ κατ' ὄναρ Mt 2, 22 Sav Ass Ostr Deč Nik.

Въ троудѣхъ чловѣчiхъ не сѫтъ. i съ чл҃кы не прiимѫтъ ранъ. μετὰ ἀνθρώπων οὐ μαστιγωθήσονται Ps 72, 5 Sin Pog Bon; ‚nejsou vydáni ranám, nejsou trýzněni'.

Častější jsou tyto obraty v Supr, v atributu i predikátu:

се бо и нынѣ отъ соуєтъныихъ кнѧзъ· рабъ б҃жıи сѫдъ приємъѥтъ ὑπὸ ματαίων ἀρχόντων ὁ Χριστὸς κρίνεται Supr 103, 1; ‚je souzen'.

послѣдьнеѥ досаждениѥ отъ насъ приимъше негодоуєте ὡς τὰ ἔσχατα ὑβρισμένοι Supr 88, 18; ‚v nejvyšší míře potupeni'.

аште пакость приимъ помолѭ сѧ за того ἂν ἐπηρεασθεὶς εὔξωμαι ὑπὲρ τοῦ ἐπηρεάζοντος Supr 379, 26; ‚když mi bylo ublíženo'.

---

[1]) B. Havránek, *Genera verbi v slov. jaz.* I, 21. — Š. Kuľbakin, *Mluv. jaz. stsl.*, 1928, 154; týž, *Le vieux slave*, 316—17. — M. Weingart, *Rukověť jaz. stsl.* II, 375. — V. Vondrák, *Aksl. Gram.*, 520; týž, *Vgl. sl. Gr.* II, 183 n. — N. van Wijk, *Aksl. Gram.* I, 234, 243. — S. Słoński, *Gram. języ. starosł.*, 116 n.

[2]) Děkuji Slovanskému ústavu za laskavé svolení k použití materiálu shromážděného pro stsl. slovník.

гн боже избавивъи· свѧтыѩ три отрокы твоѩ отъ пешти огньныѩ.... и не давъ им· пакости приѩти μὴ ἐάσας αὐτοὺς ἀδικηθῆναι Supr 179, 7; ‚nedopustiv, aby jim bylo ublíženo'.

о мрьтвѣ молѫ · отъ вьсѣхъ обидѫ приим'шꙋ....... отъ ицѣлѣвъшиихъ · отъ него ꙗзвѫ прием'шоуоумꙋ (dativy namísto správ. loc.) ὑπὸ πάντων ἀδικηθέντος, τοῦ ὑπὸ τῶν ἰαθέντων ὑπ' αὐτοῦ τραυματισθέντος Supr 455, 14—20; ‚potupeném, zraněném'.

видѣвъ свѧтаꙗ · не приимъша врѣда никакогоже μηδὲν ἀδικηθέντας Supr 184, 29; ‚nezraněné, bez úrazu'. Pod Supr 23, 4.

пришъдъ мѫчениѥ приѥмеши въ команѣхъ. μαρτύρει ἐν Κομάναις Supr 16, 6; ‚budeš mučen'.

аште да сѧ обраштетъ кто отъ васъ вънѫтрь града събираѩ въ цръкви правовѣрныихъ · то съмрьтънѫѭ казнь прииметъ Supr 199, 27; ‚bude potrestán smrtí'.

пригвожденъ бꙑстъ на дрѣвѣ · славимъи херовимомъ и серафимомъ · и вьсѣми силами аггельсками покланиꙗниѥ приемьѩ · ὑπὸ πασῶν δυνάμεών τε καὶ ἀγγέλων προσκυνούμενος Supr 482, 1; ‚uctíván, jemuž se koří'.

богатиі и ништии · и зъли и добрии · отъ того слоужъбѫ приѥмлѭтъ ἐξ αὐτοῦ ὑπηρετοῦνται Supr 262, 6. Pod. 262, 3; 286, 27.

Doklady na tyto obraty jsou také v Apostolu, dochovaném ovšem jen v rkp. pozdějších; někdy jsou jen v jednotlivých rukopisech, zvláště v Christ:

о оупвании и о въскрѣшении мьртвыхъ азъ приемлю соудъ. ἐγὼ κρίνομαι A 23, 6 Christ Šiš; ‚jsem souzen'.

Въ се бо трꙋждаемь сѧ и поношеніе пріемлемъ 1 T 4, 10 Mosk Ochr Slepč Šiš ὀνειδιζόμεθα,, ‚jsme tupeni'.

по что хоулоу приемлю о немьже азъ похвалꙗю τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ 1 C 10, 30 Christ Slepč Šiš.

вѣрьнъ же бъ, иже не оставить насъ (namísto васъ) напасть приꙗти паче ѥже можете οὐκ ἀφήσει ὑμᾶς πειρασθῆναι 1 C 10, 13 Christ (Šiš напастовати се, Slepč напастъствовати); ‚nedopustí, abyste byli pokoušeni'.

Ни ѡт роукъ чл҃вчскъ оугожениꙗ приемлеть οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρωπίνων θεραπεύεται A 17. 25 Christ Ochr Slepč Šiš; ‚není obsluhován'.

S doklady na tyto obraty setkáváme se také v Apokalypse Chvalova kodexu:

соудь приеше мрьтвы по дѣломь своѥмь каждо ихь ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν Ap 20, 13.

речено бысть имь да не оубиють ихь, на да моукоу примоуть .є. мѣсецы ἵνα βασανισθήσονται Ap 9, 5.

се имать дьꙗволь оусаждаты ѡть в(а)сь вь тамницоу, да искоушение примете ἵνα πειρασθῆτε 2, 10; ‚abyste byli zkoušeni'.

Doklady na takovéto vyjadřování pasivní větné perspektivy se vyskytují také v památkách historických a právních:

ѡтъ бога разоумъ пріимъ, чести нача книгы бес порока ŽK 8, Lavrov 12, 4; ‚byv osvícen'.

иже ѿтъ васъ на западъ кланѣетсѧ, ли жидовъскы молитвы творить, ли сарацинъскоу вѣроу дръжить, скоро съмрътъ нрїиметь ѿтъ насъ ŽK 11, Lavrov 24,2; ‚bude stižen smrtí'.

искоушениѥ приимъ, прѣтьрпѣвъ же, блгнъ бы бмь ŽM 1, Lavrov 68,29; ‚byv zkoušen'.

аще которыи еппъ.... соудъ приемлеть ѿ всѣхъ ѡбластьныи еппъ..., ѿ инѣхъ соуда да (не) приемлеть εἴ τις ἐπίσκοπος... κριθείη ὑπὸ πάντων τῶν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ἐπισκόπων...., τοῦτον μηκέτι παρ' ἑτέροις δικάζεσθαι Ust'užskaja Kormčaja (— Rumjancevský rkp.) 20b; (Jefremovskaja Kormčaja 93b má осоуждень боудеть, томоу къ томоу прѣдъ инѣми не пьрѣтисѧ).[3])

рабыни, аще и ноужю приметь ѿ гна своего, то без грѣха есть ἡ δούλη, εἰ ἐβιάσθη Rum 41a, 26 (Jefr 192b приноужена боудеть).

Z uvedených příkladů je patrno, že obraty s *priimati / prijęti* nahrazují pasivum především *u sloves objektových nepřímých s předmětem osobním v dativu: otъvěštati = dáti pokyn* (χρηματίζειν), *sǫditi, ponositi, dosaditi, služiti, ugoditi*, refl. *poklanjati sę*. Kdežto v řečtině dativ osoby, který u sebe má činné sloveso, může se stát subjektem trpné vazby, nemohl překladatel staroslověnského textu v tomto případě užít osobního pasiva, a byl proto nucen sáhnout k opisu. A tak zatím co v L 2,26 mohl slovanský překladatel řeckou neosobní vazbu ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου tlumočiti doslovně бѣ емоу отъвѣштано д҄хомь с҄тъимь (Zogr Mar Sav Ass Ostr), musil se při překládání osobního pasiva téhož slovesa χρηματισθέντες κατ' ὄναρ Mt 2,12 uchýlit k volnějšímu obratu отъвѣтъ приимъше (Sav Ass Ostr Archang Deč Nik), podobně jako bylo nutno volit na tomto místě volnější obrat *responso accepto* i v latině, kde osobní pasivum u sloves nepřímo objektových je velmi řídké.[4])

Nejvíce dokladů na užití obratů s *priimati / prijęti* za řecké pasivum je u slovesa *sǫditi*. Kdežto řecké κρίνειν má rekci akusativní, stsl. *sǫditi* má u sebe osobní předmět téměř vždy v dativě. Případy akusativního osobního objektu u tohoto slovesa jsou v nejstarších památkách zcela ojedinělé: Cloz I, 144 сьѭ (sc. женѫ) сѫдіти съ вьсѣкоѭ обрѣтаѭштѭ сѧ тѫжѭ, Euch Sin 77b,3 вь силѣ твоеи сѫди мѧ (citát Ps 53,3; Ps Sin má na tomto místě сѫди ми). Akusativní vazba je na těchto místech pravděpodobně vlivem řečtiny, v Euch může být akusativ také ještě vlivem téhož tvaru v první polovině verše (Бже въ имѧ твое спи мѧ). Jinak má toto sloveso v nejstarších památkách osobní předmět vždy v dativě, a proto se musili překladatelé při překládání řec. osobního pasiva uchýlit k obratům volnějším. V evangelních textech se překládá řecké osobní pasivum tohoto slovesa zpravidla větami aktivními s obecným podmětem nebo pasivem neosobním (Mt 7,2 ἐν ᾧ γὰρ

3) Srov. J. Vašica, *Metodějův překlad nomokanonu*, Slavia 24 (1955) 25—26. — H. F. Schmid, *Die Nomokanonübersetzung des Methodius*, 1922, 92. — I. I. Sreznevskij, *Обозрение древних русских списков Кормчей книги*, Сборник отдел. русс. яз. и слов. АН 65 (1899). — V. N. Beneševič, *Древне-славянская кормчая XIV титулов без толкований*, 1906.

4) Srov. K. Horálek, *Čtveroevangelia a evangeliáře*, 1954, 51.

κρίματι κρίνετε, κριθήσεσθε ï̆мь же бо сѫдомь сѫдите, сѫдѧтъ вамъ Zogr Mar Ass Deč сѫдить сѧ вамъ Ostr Archang), nebo — tam kde to připouští smysl textu — užil překladatel přímého slovesa objektového *osǫditi, osǫždati.* Tam, kde pozornost je obrácena spíše na osobu, která je předmětem děje, nežli na činitele děje, nebo tam, kde neustálé střídání podmětů znesnadňovalo by spojení vět nebo větných členů navzájem, musil se překladatel uchýlit k takové konstrukci, v níž by osoba děním zasažená byla gramatickým subjektem. Spojení *sǫdъ prijęti* se vyskytuje ve stsl. památkách jednak ve významu reflexivním *soudit se* (Mt 5,40 хотѧштюмоу сѫдъ приѩти съ тобоѭ ï ризѫ твоѭ възѧти· отъпоусти емоу ï срачицѫ твоѭ τῷ θελόντί σοι κριθῆναι Zogr Mar), jednak ve významu pasivním, stejně jako pasivní tvary slovesa κρίνειν mají vedle významu pasivního také význam mediální,[5]) zatím co na př. ve Vulgátě oba významy jsou lexikálně rozlišeny *(iudicari, iudicio contendere).* Osobní pasivum u slovesa *sǫditi* se původně vyjadřovalo opisem *priimati / prijęti sǫdъ*; vyjadřování osobního pasiva formou reflexivní (akusativní) proniká v důsledku těsnějšího přiklonění k řec. textu, právě tak jako vlivem řečtiny dativní vazba u osobního předmětu ponenáhlu ustupuje akusativu.

Jinou příčinou užití těchto opisných obratů je nedostatek lexikálních ekvivalentů ve stsl. za příslušné slovo řecké. Tak řecké ἀδικεῖν se zpravidla překládá opisem *pakostь (sъ)tvoriti,* řec. τιμωρεῖν obratem *kaznь (sъ)tvoriti.* Někteří autoři s oblibou užívají takovýchto opisů s *dějati* nebo *(sъ)tvoriti* i v těch případech, kdy stsl. příslušné jednoduché sloveso má: *mǫčenije tvoriti, obidǫ tvoriti* namísto *mǫčiti, obiděti, jazvǫ (sъ)tvoriti, vrědъ (sъ)tvoriti* namísto *jazviti, vrěditi* a pod. Těmto aktivním opisným vazbám odpovídají pak v pasivu obraty s *priimati / prijęti: pakostь prijęti, kaznь prijęti, prijęti jazvǫ, prijęti vrědъ* a j.

V některých případech vedla překladatele k užití opisu s *prijęti/priimati snaha po jasnosti a jednoznačnosti* překladu. Tak na př. v 1 C 10, 13 (иже не оставить [в]асъ напасть приıати паче ѥже можете Christ οὐκ ἀφήσει ὑμᾶς πειρασθῆναι) opis *napastь prijęti* jasně ukazuje, že předcházející *vasъ* je patiens, kdežto reflexivní forma напастовати се Ap Šiš mohla by být chápána také jako reflexivum reciproční, právě tak jako užití aktivní formy v Ap Slepč mohlo by vést k pochybnosti, zda *vasъ* je objektem k předcházejícímu *ostaviti* nebo následujícímu *napastьstvovati.*

S hlediska slovesného rodu jsou obraty s *priimati / prijęti* v podstatě aktivní, neboť vcelku vyjadřují *přijímání děje trpným subjektem,* tedy činnost jeho samého. Kdežto pasivum (osobní) jako významová kategorie vyjadřuje děj, jehož je gramatický podmět nikoliv činitelem, nýbrž předmětem, cílem, tedy o gramatickém subjektu vyslovuje, že je zasažen děním

---

[5]) O splývání pasiva a media v novozák. řečtině srov. Blass-Debrunner, *Gram. des neutest. Griechisch*[7], 1943, 138. — A. T. Robertson, *A Grammar of the Greek New Testament*[3], New York 1919, 333—34.

přicházejícím odjinud,[6]) vyjadřují obraty s *priimati / prijęti vědomé přejímání a podrobování se nějaké činnosti.* Proto jsou tyto obraty doloženy jen *při podmětu osobním,* kdy vůbec lze mluvit o vědomém přejímání a podrobování se činnosti. Společný rys těchto obratů s pasivem spočívá v tom, že v obojím případě dění vychází z nějakého činitele vně gramatického subjektu a zasahuje subjekt.

Činitel děje se v těchto obratech vyjadřuje vždy genitivem s předložkou *otъ,* což svědčí o tom, že sloveso *priimati / prijęti* si v nich podržuje svůj lexikální význam. V jediném dokladě, kde činitel je vyjádřen instrumentálem, вьсѣми силами аггельсками покланѣанье приемлѭ Supr 482,1, je užito instrumentálu činitele děje zřejmě analogií podle téhož pádu u bezprostředně předcházejícího participia praes. pass.

Sloveso *priimati / prijęti* má v těchto obratech význam *dostávati, dostati, dostati se někomu něčeho, zakusiti,* příjemce je tedy trpný. Je nutno odlišovat od podobných obratů, v nichž sloveso *priimati / prijęti* má význam *bráti, vzíti* (— příjemce je tedy činný —) a jejichž smysl je aktivní: дроузии же роуганиѥмь и ранамь искоушениѥ приѩшѧ, ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον Šiš Hb 11,36 ‚zakusili posměchy a rány'.

Karel Haderka (Praha)

[6]) B. Havránek, *Genera verbi* I, 14—15. — V. Mathesius, *Čeština a obecný jazykozpyt,* 1947, 294; týž, *O passivu v moderní angl.,* Sborník filol. 5 (1915) 198 n. — F. Trávníček, *Pasivum ve spis. češt.,* Slovo a sloves. 5 (1939) 13 n.

Ἐπιούσιος - насѫщьнъи - quotidianus - vezdejší

Josef Cibulka (Praha)

Ve čtvrté prosbě Otčenáše nachází se v češtině nezvyklé slovo *vezdejší*. Tím byl zřejmě tlumočen výraz *quotidianus*, obsažený v latinské prosbě *panem nostrum quotidianum da nobis hodie*, a znamenající chléb *denní*, přesněji *každodenní (quoties-dies)*. Slovo *vezdejší* nachází se už v staročeském Otčenáši XIV. století v různých tvarech: *vezdajší* nebo *veždajší, vešdajší, bezdajší, vezdejší*.[1]) Slova ta, jak patrno, neodpovídají přesně znění latinskému. V řeckém textu zní místo to také poněkud jinak, než v latinské a české modlitbě. Matoušovo evangelium 6,11 praví τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, a Lukášovo evangelium 11,3 píše τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ' ἡμέραν, Prvních pět slov v obou textech je tedy zcela totožných, smysl ostatních slov je jen nepatrně odlišný; v prvním případě ‚dej nám dnes', v druhém případě ‚dej nám den za dnem' čili ‚denně'. Jako se v českém znění nezvyklým a nejasným zdá slovo *vezdejší*, tak zase v řeckém textu záhadou je slovo ἐπιούσιος.

Staroslověnské texty evangelní překládajj slovo to různými výrazy, což ukazuje, že původní text byl měněn. J. Vajs zkoumal tyto varianty a za původní znění uznal výraz *nasǫštьnyi*,[2]) znamenající chléb potřebný k udržení bytí čili podstaty člověka. Výraz ten považoval za zřejmý překlad výrazu *supersubstantialis*, jehož sv. Jeroným použil v latinském překladu Písma, zvaném Vulgáta. Současně ukázal, že staroslověnský překlad evangelia pořízen byl z řecké předlohy v podstatě podle textové recense t. zv. byzantské, obsahující však příměsky z textů starších, zejména však z t. zv. čtení západních (která však byla původu východního). Takových t. zv. kompromisních kodexů s textem byzantským, obsahujícím příměsky čtení západních, byla tehdy v Cařihradě hojnost. Poněvadž však řecká čtení západní, částečně snad už od II. století, vcházela do starého latinského překladu, zvaného *Itala* nebo *Vetus Latina*, a odtud ve IV. století do Vulgáty, byla vysvětlena veliká většina zdánlivých shod staroslověnského překladu s Vulgátou tím, že nejde o závislost na Vulgátě, jak se dříve myslilo, nýbrž o závislost na t. zv. západních čteních kompromisní byzantské předlohy, která jinou cestou se dostala do Italy a jsou zachována také v latinské Vulgátě. Tak omezil Vajs vliv Vulgáty na staroslověnský překlad evangelií na velmi málo míst (3), z nichž jako nejnápadnější doklad uvedl

---

[1]) A. Škarka, *Nejstarší česká duchovní lyrika*. Praha 1949, 86—87.

[2]) J. Vajs, *Byzantská recense a evangelijní kodexy staroslověnské*. Byzantinoslavica 1 (1929) 5, a 4 (1932) 1 n. Srov. k tomu však otázku Jos. Kurze, Byzantinoslavica 6 (1936) 238, zdali jde ve znění Vajsem předpokládaném o text původní. Viz též K. Horálek, *Evangeliáře a čtveroevangelia* 53, 83. Vajs sám má v rekonstrukci textu ev. Matoušova znění *chlěbъ našь nastavъšajego dьne* (Ev. S. Matthaei, 1935, 19).

a uznáno bylo právě slovo *nasǫštьnyi* jako překlad Jeronymova výrazu *supersubstantialis*.[3]) Tak se znmožila a zhustila problematika kolem adjektiva, spojeného se substantivem chléb ve čtvrté prosbě Otčenáše, která m. j. vyvolala také otázku, zda adjektivum *vezdejší*, odlišné od staroslověnských textů, není snad zbytkem předcyrilského západoslovanského Otčenáše, což zase vyžadovalo zjištění, jaké je původní znění staroslověnského překladu, zda se v něm projevuje vliv Vulgáty atd. Vyřešení těchto otázek není však možné bez zodpovědění otázky, co v řeckém textu znamená slovo ἐπιούσιος.

Slovo to je dávným křížem interpretů. Jako ἅπαξ λεγόμενον nachází se v evangeliích pouze na uvedených dvou totožných místech.[4]) Netřeba se zabývat otázkou etymologicky správného odvození, neboť pro význam slova je důležité pouze, jak byl chápán. Dálo se tak dvojím způsobem. První odvozoval slovo správněji ze slovesa ἐπιέναι ‚přistoupiti, nastávati', ὁ ἐπιών ‚nastávající, příští', takže ἡ ἐπιοῦσα (t. j. ἡμέρα) znamená ‚nastávající' anebo ‚nastavší den' podle vlastního významu slova, tedy nikoliv zítřek, ‚αὔριον', jak patrno z pojímání evangelního textu u exegetů.

Tak na př. sv. Jan Zlatoústý (344—407) se táže,[5]) co znamenají slova τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον a odpovídá lapidárně τὸν ἐφήμερον, tedy chléb připadající na den, čímž opisuje význam chleba nastávajícího anebo nastavšího dne, ale hned pokračuje, že tím je také řečeno, abychom se nestarali o den zítřejší, takže svým výkladem nechápe chléb jako zítřejší, *crastinus*, jako τὸν ἄρτον τὸν αὔριον[6]), ale také jej nepojímá jako chléb každodenní *(quotidianus)*, připadající na všechny dny, nýbrž *pouze na tento den* podle zmíněného významu slova ἐπιούσιον.

Pojetí chleba jako zítřejšího překáží také, že je dožadováno *dnes*, σήμερον. Vykládá-li tudíž sv. Cyril, patriarcha alexandrijský v letech 412—414, že jde o pokrm připadající na den, τροφὴν τὴν ἐφήμερον[7]), je místo chápati podobně jako u sv. Jana Zlatoústého o chlebu připadajícím na tento den a nikoliv o chlebu připadajícím na všechny dny čili každodenním ve smyslu latinského *panem quotidianum*, třebaže takový význam lze sice odvodit tím, že se modlitba koná každodenně a také každodenně je pokrmu potřebí, ale není to přesný překlad ani slova znamenajícího ἐπιούσιον, ‚chléb nastávajícího nebo nastavšího dne', ani slova ἐφήμερον, znamenajícího souhlasně podle připojených výkladů ‚chléb připadající na tento den'. Všechny tyto výklady chápou slovo ἐπιούσιον ve smyslu časovém.

Zpravidla však řečtí Otcové a spisovatelé chápali ἐπιούσιον druhým způsobem, a to jako vzniklé ze slov ἐπὶ-εἶναι, ať už je etymologie správná či nikoliv, tedy skladbou předložky ἐπί a adjektiva οὔσιος, znamenajícího ‚bytost, podstatu, jsoucno' (οὐσία). Téhož adjektiva užito bylo ve slově ὁμοούσιος, vyjadřujícím v protiariánském smyslu církevní učení, že Syn je stejné podstaty s Otcem. Poněvadž předložka ἐπί znamená *na, při, k, ke, pro*, znamená ἄρτος ἐπιούσιος = ὁ ἐπὶ τὴν οὐσίαν ἄρτος t. j. chléb potřebný pro podstatu

---

[3]) M. Weingart, *Rukověť jazyka staroslověnského*. Praha 1937, 24—25.
[4]) J. Knabenbauer, *Commentarius in evangelium secundum Matthaeum*. Parisiis 1892, 261 n.
[5]) *Commentarius in Matthaeum*, homilia XIX., Migne, *Patrologia Graeca* 57, 280.
[6]) K tomu i následujícímu viz J. P. Bock, *Die Brotbitte des Vaterunsers*. Paderborn 1911, 15 n.
[7]) Migne, o. c. 72, 693.

lidskou, k její výživě a k jejímu bytí. Tak chápe adjektivum Origenes (186—255): τὸν εἰς τὴν οὐσίαν συμβαλλόμενον ἄρτον nebo sv. Basilius (331—379): τὸν πρὸς τὴν ἐφήμερον ζωὴν τῇ οὐσίᾳ ἡμῶν χρησιμεύοντα a j.[8])

Netřeba uvádět další četné doklady. Ἄρτος ἐπιούσιος je zpravidla chápán jako chléb příslušející naší podstatě a nutný pro naše bytí, čili je mu dáván smysl, který na rozdíl od časového možno označit jako podstatový nebo bytostný. Tím nebyl však míněn pouze chléb skutečný a materiální, nýbrž záhy byl podstatovým smyslem přeneseně pojímán chléb duchovní, chléb eucharistický a Kristus, jak už kolem r. 200 pronesl Tertullian: *panem nostrum quotidianum da nobis hodie, spiritaliter potius intelligamus. Christus enim panis noster est, quia vita Christus, et vita panis.*[9])

Nyní však nezáleží tolik na významu slova v prvních stoletích křesťanských, třebaže je nutným východiskem pro porozumění, nýbrž na chápání výrazu v době blízké jak staroslověnskému překladu evangelií v IX. století, tak také v době blízké opsání hlavních kodexů staroslověnských evangelií v X.—XI. století, i v místě jejich vzniku, t. j. v Makedonii. Bylo to opět pojímání ve smyslu podstatovém a nikoliv časovém.

Spis Ἱστορία ἐκκλησιαστικὴ καὶ μυστικὴ θεωρία, připsaný významnému patriarchovi cařihradskému (715—729) Germanovi I. († kolem 733) vykládá, že prosíme o chléb τὸν πρεπόντα τῇ οὐσίᾳ ἡμῶν, příslušející naší podstatě, a chlebem rozumí Krista,[10]) jak se stalo pravidlem. Sv. Jan z Damašku vykládá výraz v tom smyslu, že se tento chléb přijímá na udržení našeho bytí, τὸ γὰρ ἐπιούσιον δηλοῖ... τὸν πρὸς συντήρησιν τῆς οὐσίας ἡμῶν λαμβανόμενον[11]). Cařihradský patriarcha Fotius (810/15—891/8), přítel a učitel Konstantina-Cyrila, vykládá text Kazatele 11,1 („Házej chléb svůj do plynoucí vody, neboť po dnech mnohých můžeš jej najíti") v tom smyslu, že Kristus-mystagog těm, kdož byli pokřtěni a do tajemství víry zasvěceni, dává sebe sama jako ἄρτον τὸν ἐπιούσιον καὶ μυστικόν, což obšírně vysvětluje jako chléb oživující, posilující a vyživující, tedy vesměs ve smyslu podstatovém, aniž jakkoli uplatňuje časový význam slova.[12]) V době pak, kdy byly v Makedonii psány kodexy staroslověnských evangelií, vykládá ochridský (bulharský) arcibiskup Theofylakt († po 1100) užité adjektivum Ἐπιούσιον, τὸν ἐπὶ τῇ οὐσίᾳ καὶ συστάσει ἡμῶν αὐτάρκη, tedy chléb, jenž naší bytosti a konstituci sám postačuje a jímž je tělo Kristovo, τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἄρτος ἐστὶν ἐπιούσιος.[13]) Později ještě ochridský arcibiskup Demetrius Chomatenus (1216—1234) výrazně píše τί γάρ ἐστιν ὁ ἐπιούσιος, εἰ μὴ ὅτι ὁ ἡμῖν ὁμοούσιος.[14]) Ztotožňuje tedy význam slov ἐπιούσιος a ὁμοούσιος a shledává stejné podstaty s námi tělo Kristovo. Netoliko ve starších dobách křesťanských, nýbrž také v době překladu staroslověnských evangelií a v místě a době jejich opsání do zachovaných kodexů stalo se tudíž na východě pravidlem pojetí slova ἐπιούσιον jakožto chleba příslušejícího lidskému bytí a podstatě, ať už byl chléb chápán jako prostě hmotný

---

[8]) J. Hensler, *Das Vaterunser. Text- und literarkritische Untersuchungen.* Münster i. W. 1914, 10.
[9]) *De oratione,* c. 6. Migne, *Patrologia Latina,* 1, 1262.
[10]) Migne, *Patrologia Graeca,* 98, 444. K tomu viz Bock, o. c., 104 n.
[11]) *De fide orthodoxa* IV., 13. Migne, *Patr. Gr.,* 94, 1152.
[12]) Migne, *Patr. Gr.,* 101, 420.
[13]) Migne, *Patr. Gr.,* 123, sl. 205.
[14]) Bock, o. c., 107.

anebo duchovní (eucharistický), a zatlačilo v řecké a byzantské theologii do pozadí časové pojetí téhož slova a pojetí chleba jakožto pokrmu nastávajícího dne nebo dnešního, který teprve v dalším průběhu prosby se uplatnil slovem *dnes*.

V řečtině šlo pouze o výklad nezvyklého výrazu ἐπιούσιος ale při překladu do jiné řeči bylo třeba smysl jeho plně vystihnout jediným slovem. Jestliže syrský překlad Pešito chápe chléb jako ‚potřebný' a tudíž ve smyslu podstatovém, dálo se tak v nejstarších dobách většinou ve smyslu časovém, takže na př. syrský překlad Curetonianus chápe chléb jako ‚stálý' anebo ‚trvalý', koptské překlady jako ‚přicházející' anebo ‚zítřejší', gotský jako ‚stálý' nebo ‚denní' atd.[15]) Pro nás nejdůležitější je překlad latinský. Itala (Vetus Latina) přeložila ἄρτον ἐπιούσιον slovy *panem quotidianum*, t. j. ‚každodenní chléb', což není přesným překladem slova ἐπιούσιον, chápaného ve smyslu časovém jako ‚chléb nastávajícího dne', ani ἐφήμερον, t. j. ‚připadajícího na den', nýbrž nejspíše καθήμερον ‚připadajícího na den co den', a tudíž rozšířeným výkladem ‚na všechny dny', odpovídajícím potřebě a skutečnosti. Znění to přešlo do latinského Otčenáše jakožto modlitby v západní Církvi obecně užívané, v níž se udrželo až dodnes.

Roku 383 pověřil však papež Damasus revisí latinského textu Nového Zákona sv. Jeronyma, jenž ἐπιούσιον v Mt. 6,11 přeložil *panem nostrum supersubstantialem*, což znamená, že chápal chléb, dožadovaný v Otčenáši, jako ‚*nad*podstatový'. Překlad ten připsal sobě *(nos ... expressimus)* a postup odůvodnil tím, že ἐπιούσιον znamená v Septuagintě totéž co περιούσιον· Poněvadž Symmachus poslední výraz přeložil *praecipuum, egregium, peculiarem,* rozhodl se pro výraz *supersubstantialem.*[16]) Tak vešel do Vulgáty výraz, který není překladem řeckého originálu, neboť zpětně do řečtiny přeložen nezněl by ἐπιούσιος, nýbrž ὑπερούσιος. Je to vlastně jednostranná interpretace slova ἐπιούσιος ve smyslu podstatově-eucharistickém, jak výplývá z Jeronymova komentáře k Mt. 6,11.[17])

Ale Jeronym neustával na jednostranné exegesi tohoto místa ve smyslu chleba eucharistického, nýbrž chápal ἐπιούσιον také časově, neboť v L 11,3 ponechal znění *panem nostrum quotidianum* a při Mt 6,11 připomenul, že v evangeliu zvaném *secundum Hebraeos* nalezl, že pro podstatový chléb *(pro substantiali pane)* je užito slova *mahar* (מָחָר), což znamená ‚zítřek'[18]). Proto na jiném místě uvádí oboje pojetí: *panem quotidianum sive super omnes substantias.*[19])

Tím, že Jeronym v oficiálním překladu Vulgáty v Mt 6,11 užil slova, které nebylo překladem slova ἐπιούσιος, nýbrž jeho duchovním výkladem ve smyslu *nadpodstatovém,* nestalo se toto označení chleba na Západě zněním obecným. Naopak modlitba Otčenáše obsahovala i nadále znění staršího překladu *panem nostrum quotidianum,* které se hluboce zakořenilo a vžilo, takže se stalo základem i východištěm západních překladů a výkladů. Jeronymova

---

[15]) Bock, o. c., 14—16.

[16]) Migne, *Patr. Lat.*, 26, 44.

[17]) *panis ... qui super omnes substantias sit, et universas superet creaturas,* čímž míní *panem ... qui ... ait: Ego sum panis, qui de coelo descendi.* Migne, *Patr. Lat.*, 26, 44.

[18]) Migne, *Patr. Lat.*, 26, 44.

[19]) *Dialogus contra Pelagianos* III, 15. Migne, *Patr. Lat.*, 23, 613.

výrazu bylo pouze příležitostně používáno na př. na potvrzení interpretace Mt 6,11 ve smyslu eucharistickém, jako na př. to učinili na sněmu basilejském proti českým utrakvistům Jan Stojković z Dubrovníka a Jindřich Kalteisen,[20] ale nikdy se na Západě nestal oficielním a obecně užívaným zněním Otčenáše ani jediným a výhradním smyslem příslušné exegese.

Tu výstižně a všestranně shrnul sv. Augustin (354—430), jenž nikdy neužil Jeronymova výrazu, třebaže jeho smysl přijímal. Podle něho *panis quotidianus* znamená: 1. *každodenní* nutný pokrm těla, 2. svátost Těla Páně, kterou *každodenně* přijímáme, 3. duchovní chléb přikázání Božích, které třeba *každodenně* míti na mysli a plniti, ale nelze se omezit na jeden význam, nýbrž všechny tři nutno spojeně přijímat.[21]

Není potřebí dále sledovat chápání Mt 6,11. Chléb sám, t. j. substantivum, byl všude chápán materiálně, eucharisticky anebo duchovně (přikázání), avšak adjektivum ἐπιούσιος na Východě bylo převážně pojímáno *podstatově,* takže šlo o chléb příslušející lidské bytosti, na Západě však *časově,* takže šlo o chléb každodenní, jak říkalo latinské znění modlitby. Všude byl pak takový chléb dožadován *dnes,* takže v latinské versi prosby dvakrát se opakovalo slovo *den (quotidianum — hodie).*

Vzhledem k nejasnému významu výrazu ἐπιούσιος byl jeho staroslověnský překlad závislý především na byzantské interpretaci záhadného slova. Proto bylo by očekávat, že místo bude přeloženo ve smyslu chleba příslušejícího lidské bytosti nebo podstatě k její výživě a zachování, neboť tak byl text v Byzanci v době Fotiově chápán. Skutečně také v překladu textu Matoušova staroslověnské evangeliáře Assemanův a Ostromirův i evang. Nikoľské, dále pak čtveroevangelia Mariánské a Nikoľské v překladu textu Lukášova vyjadřují výrazem *nasǫštьnyi* myšlenku ‚chleba určeného *pro* podstatu anebo *na* udržování bytí člověka'. Podle příkladu řeckých autorů, chápajících slovo ἐπιούσιον jako složené z předložky ἐπί a slova οὔσιος, vzešlého z participia přítomného času (ὤν, οὖσα, ὄν) slovesa εἶναι = ‚býti', je také utvořeno staroslověnské slovo z předložky *na* a participia přítomného času slovesa *býti.* Je tedy staroslověnský výraz na těchto místech přesným a doslovným překladem řeckého slova, chápaného ve smyslu podstatovém, jak bylo v řeckém a byzantském světě pravidlem. *Není* tu však vliv Vulgáty, neboť ta výrazem *panem supersubstantialem* vyjadřuje chléb *nad*podstatový, kdežto staroslověnské slovo předložkou *na* věrně vyjadřuje řeckou předložku ἐπί a tím určení chleba ‚*na* podstatu' anebo ‚*pro* bytí člověka'.

Ale právě v rukopisech staroslověnských evangelií, patřících mezi nejstarší, nacházejí se úchylky. Codex Marianus a Savvina kniga mají v Matoušově textu výraz *nastavъšago dьne,* tedy také doslovný překlad slova ἐπιούσιος, ale ve smyslu časovém jakožto chleba ‚nastávajícího' anebo spíše ‚nastavšího dne'. Kodex Zografský měl na témž místě původně *nastojęštii* nebo *nastojęšt(aago dьne),* tedy opět chléb ‚nastávajícího anebo nastavšího

---

[20]) Bock, o. c., 290.
[21]) De sermone Domini in monte. VII, 25—27. Migne, *Patr. Lat.*, 34, 1280—1281.

dne'. Z těchto různých znění je patrno, že evangelní text staroslověnského Otčenáše byl měněn a upravován. Vajs ukázal, že Konstantin začal misijní činnost překladem evangelistáře, který byl teprve později na Moravě rozšířen v úplné čtveroevangelium. V doplňovací práci pokračovalo několik spolupracovníků. Tak bylo v překladu provedeno několik změn podle doplněného čtveroevangelia, jako na př. v Otčenáši evangeliáře Assemanova, zatím co v kodexu Nikoľském se zachoval starý původní text aprakosu.[22]

Příznačné však je, že kodexy, které patří také k nejstarším, jako Zografský a Mariánský, anebo které obsahují stará čtení, jako Savvina kniga, obsahují právě překlad slova ἐπιούσιον ve smyslu ‚nastávajícího anebo nastavšího dne', takže možno soudit, že právě v nich bylo zachováno původní znění překladu místa Mt 6,11 ve smyslu časovém, které jinak bylo později nahrazeno zněním podstatovým, v byzantském světě běžným. Změny takové mohly vzniknout už na Moravě při přeměně evangelistáře v tetraevangelium, ale mohly se stát také při pozdějších přepisech v Makedonii, kde bylo ἐπιούσιον chápáno podstatově, jak bylo ukázáno. Vždyť už velmi záhy, v X. století, byl v Bulharsku původní cyrilometodějský překlad evangelií opravován tím, že byla odstraňována čtení západní a text přizpůsobován oficiálnímu znění cařihradskému. Tak mohlo také oficiálnímu chápání slova ἐπιούσιον ve smyslu podstatovém v různých rukopisech být přizpůsobeno původní časové pojetí v Mt 6,11. Dokumentárně to dokládá korektura, kterou kyrilský emendátor provedl v hlaholském textu kodexu Zografského, kde časový výraz vymazal a nahradil zněním rázu podstatového, takže z *nastojęšt(aago dьne)* vzniklo slovo *nastojęštъny*, ale emendátor měl na mysli *nasǫštьny*,[23] podobně jako v kod. Assemanově, Ostromirově a jinde. Tedy i v napsaných již kodexech dály se ještě změny, které časové znění Mt 6,11 měnily na podstatové.

Podle ojedinělých, rozptýlených a nesoustavných výskytů časového znění v rukopisech staroslověnských vyplývá, že časový smysl slova ἐπιούσιον je v nich dřívější než převažující, šířící se a také později ještě korekturou uváděný smysl podstatový. Nelze předpokládat, že časový smysl slova ἐπιούσιον byl do staroslověnských evangelií vnesen teprve v Bulharsku, neboť tam panovalo podstatové pojetí slova ἐπιούσιον, jak bylo ukázáno, a v tom smyslu bylo znění kodexů také opravováno. Dlužno tedy existenci časového pojetí místa Mt 6,11 klásti už na Moravu a podle doznívajících jeho výskytů na různých místech míti jej za dřívější nežli užité pojetí podstatové, ne-li za původní. Samozřejmě by nepochybné stanovení původního znění zmíněného slova vyžadovalo podrobnějšího zkoumání textového, o němž však sotva lze se nadíti, že by vedlo k nespornému výsledku, ale nemá-li být zaváděno neuvěřitelné kolísání, že původní podstatový smysl byl změněn na časový a tento opět na podstatový, je nejjednodušším, a proto jistě nejpřesvědčivějším dohadem, že původní smysl časový se v některých rukopisech zachoval, ale

---

22) J. Vajs, *K charakteristice nejstarších evang. rukopisů staroslověnských.* Byzantinoslavica 5 (1933—1934) 114.

23) *Zographensis ed. V. Jagić.* 1879, XXXII a 5 nota in calce.

v jiných byl změněn na podstatový, ať se tak stalo už na Moravě anebo teprve v Bulharsku. Rozhodně však nutno překlad slova ἐπιούσιον ve smyslu časovém předpokládat už na Moravě, jak bylo ukázáno.

Prosba „chléb náš vezdejší dej nám dnes" nenachází se pouze v Mt 6,11, nýbrž také v L 11,3. Slovo ἐπιούσιον tu Mar. překládá *nasǫštьny*, evangelium Nikoľské také *nasuštьny*, tedy v obou případech ve smyslu podstatovém, ‚*na* udržení bytí', avšak Zogr. tu klade *nadьnevъny*, tedy opět ve smyslu časovém. Na první pohled by se zdálo, že jde o překlad slova ἐφήμερον, chléb ‚připadající na den' (na rozdíl od zítřku), jak řečtí Otcové ve smyslu časovém chápali a opisovali slovo ἐπιούσιον, neboť staroslověnský výraz je doslovným překladem tohoto řeckého výrazu ἐπί = ‚na', ἡμέρα = ‚den'. Byl-li v Zogr. podobně jako v Mt 6,11 zvolen smysl časový, nutil k tomu také další text, žádající chléb τὸ καθ' ἡμέραν. Výraz ten nachází se na mnoha místech Nového Zákona, jako Mt 26,55, Mc 14,49, L 9,23; 16,19; 19,47; 22,53; Act 2,46, 47; 3,2; 16,5; 17,11; 19,9; 1C 15,31; 2C 11,28; Hb 7,27; 10,11, ale je souhlasně překládán *na vьsjakъ dьnь* (L 11,3), *po vьsę dьni* a pod., takže vždy je vyjádřeno *na každý den* čili *každodenně*, což je význam i latinského *panem nostrum quotidianum*. Každodennost chleba není však vyjádřena adjektivem připojeným k substantivu, jako v latinském textu, nýbrž ustáleným překladem výrazu καθ' ἡμέραν. Latinský text prosí, aby každodenní chléb byl dán *dnes*, stsl. text L 11,3 žádá, aby chléb, připadající *na den* (Zogr.) anebo přináležející *podstatě lidské*, byl dáván *každodenně*. Z toho je opět patrno, jak časové znění Zografského kodexu je blízké znění latinskému a samo o sobě jeví se být původnější a jednotnější.

Ἄρτος ἐπιούσιος překládá se tedy souhlasně s obecným byzantským míněním v staroslověnských textech evangelního Otčenáše většinou jako ‚chléb určený pro bytí člověka', ale pod vrstvou pozdějších redakcí objevilo se právě v několika nejstarších rukopisech znění, které ἄρτον ἐπιούσιον v Mt 6,11 chápalo jako ‚chléb nastávajícího nebo nastavšího dne', dožadovaný pro *dnešek*, anebo v L 11,3 jako ‚chléb připadající na den' a dožadovaný *na každý den*. Takové chápání výrazu, odlišné od byzantského pojímání, nemohlo být vlivem Vulgáty, která obsahuje naprosto rozdílný pojem, který je netoliko nečasový, nýbrž i nadpodstatový. Nemohlo se tak stát vlivem latinského Otčenáše, který byl sice modlitbou latinsko-bavorských kněží, působících na Moravě před příchodem soluňských bratří, ale nikoliv modlitbou lidu, neboť lid nebyl nucen znát latinský Otčenáš, jak bylo mylně dovozováno z ojedinělých textů. Mohlo-li co ovlivňovat překladatele, aby se přizpůsobili poněkud nezvyklému časovému pojetí, jasně vyjádřenému latinským Otčenášem, nebyl to jeho latinský text, nýbrž západoslovanský překlad latinského textu, pořízený a na Moravě rozšířený předcházející misií latinsko-bavorskou, neboť překlad takový musili věřící v té době zpaměti znát jako vyjádření křesťanské modlitby, zvláště měli-li podle tehdejší praxe být ke křtu připuštěni za kmotry, a naopak zase nebylo vhodné do evangelia uvádět smysl jiný, než obsahovala užívaná již modlitba Otčenáše. Nutno tedy zkoumat, zda se snad ještě jinak, než bylo ukázáno, nezachovaly zbytky západoslovanského Otčenáše, který byzantsky školené překladatele staroslověnského evangelia přiměl k tlumočení čtvrté prosby ve smyslu časovém.

Ve staročeském Otčenáši miličovského sborníku t. zv. klementinských Modliteb z osmdesátých let XIV. století prosba zní: *chleb nas wezdayssy day nam dnes.*[24]) Poněvadž text nečiní rozdílu mezi *z* a *ž* (píše *genz, ktoz* a pod.), možno čísti *vezdajší* i *veždajší*. V některých rukopisech psáno je též *vešdajší*. Slovo to netlumočí doslovně latinský výraz *quotidianus,* jakožto chléb ‚každodenní'. Utvořeno ze základního slova *veždy* < *vešdy* ‚semper, vždy' znamená slovo *vezdejší* chléb ‚jsoucí vždy (sempiternus)', ‚ustavičný (iugis)' a proto také denní, takže smysl latinského znění prosby je vystižen. *Panis quotidianus,* chléb každodenní, je *vezdejším chlebem* adekvátně tlumočen jako ‚chléb stálý'. Smyslem souhlasí s časovým pojetím staroslověnského překladu Mt 6,11 v Zogr., Mar. a Sav., a s překladem L 11,3 v Zogr. shoduje se podobně jako s textem latinským.

Ale přece jen je zde rozdíl: ze staročeského i novočeského výrazu vymizelo slovo *den,* nacházející se v latinském textu a v Zogr. L. 11,3. Ponecháme-li stranou časově a místně vzdálené překlady, kde se stalo podobně, takže dožadovaný chléb je prostě označen jako ‚stálý', jsou českému výrazu blízká znění nejstarších Otčenášů německých. Svatohavelský (alemanský) Otčenáš kolem 790 praví *prooth unseer emizzihic kip uns hiutu,* weissenburský (alsaský) z let 810—20 *broot unseraz emezzigaz gib uns hiutu,* frisinský (starobavorský) z let 810—20 *pilipi unsraz emizzigaz kip uns eogauuanna.*[25]) Je zde podivuhodná shoda tří Otčenášů z různých krajin v adjektivu slova ‚chléb'. Otčenáše ty byly přeloženy z latiny. Slovem *emizzihic, emezzigaz* nebo *emizzigas* bylo tudíž přeloženo latinské *quotidianum.* Slovo *emezzig* podle Grimmova slovníku závisí na kmenu *emesz* znamenájícím ‚uzdu (lorum)' a pod., z čehož, snad z nepřetržitého způsobu příslušné práce, slovo *emizis* ve staré horní němčině znamená ‚stále, nepřetržitě', *emasic* anebo *emizic* ‚stálý, nepřetržitý', podobně jako v latině z *iugum* adjektivum *iugis* nabylo významu ‚continuus, perpetuus'. Starohornoněmecké Otčenáše tedy souhlasně pojmem stálého a nepřetržitě trvajícího chleba překládají *panem quotidianum.* Vymizel výraz ‚den', a místo chleba ‚připadajícího na den' byl vyjádřen chléb ‚mající vlastnost nepřetržité stálosti' a tudíž ‚připadající na všechny dny'. Srovnáme-li tři starohornoněmecké Otčenáše z let kolem r. 790—820 se zápisem staročeského Otčenáše ze XIV. století i s dnešním jeho zněním, je k překladu výrazu *quotidianum* užito slova v obou případech označujícího každodenní chléb jako stálý, vždy jsoucí a nepřetržitě trvající. Právě tak, jako v českém znění není ani v bavorském textu zachován výraz ‚den'. Spíše než latinského *quotidianus* jeví se slovo *vezdejší* tlumočením výrazu *emizic,* užitého ve starohornoněmeckých Otčenáších, s nímž je významově shodné = ‚vždy, vezdejší'.

Těsná shoda výrazu *vezdajší* = *veždajší* a výrazu *(broot) emizzigaz,* opisujících latinské *quotidianum* bez ohledu na každodennost slovem vyjadřujícím stálost, stačí aby bylo možno datovat staří Otčenáše, jehož text se

---

[24]) A. Škarka, o. c., 8 a 85.
[25]) E. von Steinmeyer, *Die kleineren altdeutschen Sprachdenkmäler.* Berlin 1916, 27, 29 a 44.

zachoval pozdějším zápisem v miličovském sborníku klementinských Modliteb a jehož se užívá dodnes. Termín *emizzigaz* ‚vezdejší' nachází se pouze ve starohornoněmeckých Otčenáších z let 790—820. Následující středohornoněmecký Otčenáš, doložený kolem r. 1000 v Notkerově katechismu, má už znění *unser tágelîcha brôt kib uns híuto.*[26]) Nastalo tedy ve znění německého Otčenáše přizpůsobení k latinské předloze, což trvá dodnes (*unser tägliches Brot*), kdežto český Otčenáš dosud zachoval původní znění ‚nepřetržitý, stálý', shodné se starohornoněmeckým zněním z doby kolem r. 800. Proto nic nepřekáží shledávat ve *vezdejším chlebu* českého Otčenáše pozůstatek západoslovanského Otčenáše z doby předcyrilometodějské, přeloženého za misie latinsko-bavorské z latiny, v překladu čtvrté prosby ovlivněného zněním starohornoněmeckým, v Bavorsku užívaným z doby kolem r. 800, ale nejpozději v X. století vystřídaným zněním, které se tam udrželo dodnes.

Jinak se jeví toto místo ve slovinském znění podle rukopisu celoveckého, kde je užito slova *wsedanny.*[27]) Výraz ten odpovídá německému *tägliches Brot*, doloženému nejprve v Notkerově katechismu, zdůrazněním pak ‚*vše*denního' čili ‚*každo*denního' chleba spíše ještě latinskému *panem quotidianum.* Rozdíl ten právě tak, jako také jiné, potvrzuje, že *v Pannonii a v Korutansku působila jiná misie salcburská, než pasovská na Moravě,* takže se poněkud liší texty modliteb původně užívaných v obou zemích, pokud lze postřehnouti podle jejich pozdějších ohlasů a pozůstatků.

Tak se nakonec ἐπιούσιον — *quotidianum* — *vezdejší* ve čtvrté prosbě Otčenáše jeví jako veliký a složitý problém, k jehož řešení východiskem jsou poměry nastalé na Moravě v době předcyrilometodějské. Latinsko-bavorští misionáři v první polovině IX. století nutně tu musili západoslovanským jazykem tlumočit Otčenáš, což se nemohlo stát než na základě běžného textu latinského, avšak adjektivum *quotidianus,* označující chléb jako každodenní, nepřeložili stejně utvořeným významem slovanským, jak se dálo v slovinském Otčenáši, nýbrž slovem *vezdejší,* které podobně jako německé *emizic* označovalo chléb jako vždy a nepřetržitě jsoucí, aniž vyjadřovalo specificky každodennost. Tím se na Moravě ujal tento časový a stálostní smysl. Když pak r. 864 na Moravu přišli Konstantin-Cyril a Metoděj, nemohli zhruba měnit vžitou modlitbu lidovou, ale ani v překladu evangelií nemohli dáti Otčenáši jiný smysl, než měla mezi lidem rozšířená modlitba. Proto překladatelé evangelia do jazyka staroslověnského na rozdíl od převládajícího byzantského pojímání chleba v této prosbě jakožto pokrmu příslušejícího lidskému bytí přidrželi se v Mt 6,11 druhého významu časového a tudíž podle řeckého znění překládali chléb ‚nastávajícího anebo nastavšího dne', jehož si žádali dnes (Zogr., Mar., Sav.), anebo v L. 11,3 užili významu chleba připadajícího na den, jehož si žádali každodenně (Zogr.). Tato původní znění se však v rukopisech evangelních neudržela. Jako bylo v rukopise Zogr. původní časové znění

---

[26]) Müllenhoff—Scherer, *Denkmäler deutscher Poesie und Prosa aus dem VIII.—IX. Jahrhundert.* 3. vyd., Berlin 1892, č. 79, 249.

[27]) A. V. Isačenko, *Začiatky vzdelanosti vo Veľkomoravskej ríši.* Turč. Sv. Martin 1948, 61.

rasurou později odstraněno a nahrazeno rčením rázu podstatového, tak se událo také v jiných redakcích rukopisů evangelních, ne-li již na Moravě, tedy později v Makedonii, kde tato tendence je zmíněnou rasurou doložena, ale také jinak bylo tam znění překladů přizpůsobováno oficiálnímu znění cařihradskému. Tím se stalo, že původní časové pojetí je zachováno pouze v několika málo rukopisech staršího původu anebo zachovávajících starší znění, což nepřímo dokazuje, že proti byzantskému podstatovému chápání textu, jaké u překladatelů dlužno předpokládat, původně i v evangelním překladu se uhostilo pojetí časové. Vysvětlením všeho sotva může být co jiného než zmíněný vliv západoslovanského Otčenáše předcyrilského, tlumočícího dílem misionářů latinsko-bavorských *panem quotidianum* ve smyslu časovém, avšak nikoliv doslovně podle latiny, nýbrž podobně jako ve starohornoněmeckém *broot emizzigaz* jako chléb vezdejší, t. j. vždy jsoucí, nepřetržitý a stálý. Slovo to v X. století vymizelo z německého Otčenáše, který se v této prosbě přizpůsobil latinskému znění *panem nostrum quotidianum* — *unser tägliches Brot,* zatím co český Otčenáš rčením *chléb náš vezdejší* dodnes zachoval rčení předcyrilského Otčenáše a tím vlastně také znění, které je nejbližší starohornoněmeckému Otčenáši z let kolem r. 800, ale v němčině už zašlo.

Josef Cibulka (Praha)

K názoru o řečnické povaze Slova o pluku Igorově

Slavomír Wollman (Praha)

Slovo o pluku Igorově je nejen jedno z nejcennějších děl staré ruské literatury kyjevského období a současně jedna s nejpozoruhodnějších památek slovesné tvorby starých Slovanů, ale také bohatý zdroj zajímavých plodných badatelských problémů, které často mají dosah daleko větší než pouhé poznání jednoho díla. Od konce 18. století, kdy Slovo bylo pro veřejnost znovu objeveno, a zvláště pak od požáru Moskvy r. 1812, kterému padl za oběť jediný nalezený rukopis Slova, je toto dílo neustále středem vědeckého zájmu. Na jeho textu zkouší a zdokonaluje slovanská filologie postupy a možnosti textové kritiky, rusko-církevněslovanského i srovnávacího studia lexikálního, o jeho pravost, starobylost se vedou rozhořčené polemiky doznívající bouřlivě ještě v době přítomné, jeho látka je srovnávána s materiálem letopisným, hagiografickým i folklorním, podnikají se stále další výzkumy reálií náležících k Slovu, podrobuje se vždy novému rozboru jeho ideové zaměření, jeho historický obsah a úloha a v neposlední řadě studuje se umělecká výstavba Slova.

Veškeré toto mnohotvárné badatelské úsilí bylo a je ovšem nerozlučně spjato s postupným rozvojem filologických a také historických věd, názorně odráží jejich úspěchy i slabosti, obohacuje se i kolísá a zase postupuje vpřed s vývojem metod a s růstem materiálových znalostí v těchto vědách.

Spor o starobylost Slova a problém jeho umělecké výstavby stály právem v popředí vědeckého zájmu i v době nejnovější. Důrazné a vědecky odůvodněné zamítnutí pochyb o starobylém původu díla, k němuž došlo v polemikách posledních patnácti let, učinilo ještě naléhavějším úkol lépe poznat uměleckou výstavbu Slova, jeho strukturu, styl a komposici, zjistit důkladněji jeho místo mezi výtvory různých slovesných rodů a druhů a tím vším i jeho význam pro vývoj staré slovesnosti slovanské vůbec a ruské zvláště.

Avšak i tato problematika je sama o sobě již tak složitá, že dala vzniknout celé řadě rozmanitých domněnek, návrhů a hypothes, namnoze docela protichůdných, že upoutává pozornost velkého počtu badatelů po půldruhého století a že její rozřešení představuje vždy znovu lákavý, ale téměř nedostupný cíl.

První a vážná překážka je hned v tom, že je nesnadné tuto problematiku pevně uchopit, t. j. především ji vymezit rozsahově, formulovat metodologicky přiléhavě hlavní otázku, o kterou běží, a určit hierarchii otázek pomocných.

Je tu jen řada dílčích otázek, kladených hned samostatně, hned v různých kombinacích. Záhy po objevení Slova byla nadhozena otázka, zda jde o dílo veršované či prozaické; kladl si ji už zcela vědomě Josef Dobrovský se svou školou a současně jeho ruský protějšek Vostokov a byla více či méně probírána hned v prvních výkladech a komentářích.[1]) S postupujícím vývojem bádání v slovanské filologii kladly se pak záhy otázky další. Otázku o příslušnosti Slova k tomu či onomu slovesnému rodu nebo druhu uvedla v život vlastně hned první zpráva o památce z r. 1797 tím, že ji označila za poema,[2]) a shodně s touto zprávou pak 1. vydání z r. 1800.[3]) Brzy následovala otázka ústnosti či knižnosti Slova, daná ranými pokusy vyložit toto dílo jako doklad ústní lidové poesie. S tím souvisela otázka o autorovi Slova a také otázka o tradici t. zv. školy Bojanovy. Poté začalo se s výzkumy s hlediska stylistiky a konečně za rozvoje textově kritického výzkumu Slova v letech 50.—70. kladla se zvláště otázka jeho komposice. Otázka souvislosti památky s jinými soudobými i dřívějšími slovesnými výtvory ústními i psanými, domácími i cizími a případného vlivu těchto výtvorů na Slovo — ať v ohledu ideovém nebo uměleckém — nalézala přirozeně vždy četné zájemce a vedla pochopitelně zas vždy k té či oné otázce z toho širokého rejstříku, který je zde jen v obrysech naznačen.[4])

A tak bylo Slovo o pluku Igorově považováno za dílo ústní i knižní, za výtvor prozaický i veršovaný, umělecký i neumělecký, za dílo s pevnou a promyšlenou komposicí i za nesouvislý zlomek či zkomoleninu, za píseň i za pověst i za „slovo" řečnické, za bylinu i za dumu, za výtvor ryze ruský i za věc odvozenou ze zahraničních zdrojů byzantských, řeckých, západoevropských nebo skandinavských atd. Nezřídka badatelé spojovali i několik na pohled neslučitelných hledisek. Přehlédneme-li práci v této problematice za sto padesát let, můžeme proto bez velkého přehánění říci, že tu je tolik názorů, kolik hlav, i když ovšem se rýsují hlavní názorové proudy a jejich vzájemná protikladnost.

Nejvíce přívrženců měl názorový proud o veršové povaze Slova. V jeho rámci objevilo se také nejvíce bujných hypothes a proti němu samozřejmě také i nejvážnější námitky, povzbuzované oprávněnou nedůvěrou k příliš odvážným pokusům o rekonstrukci památky

---

1) Srov. Slavomír Wollman, *Dobrovský a Slovo o pluku Igorově*, Slavia 24 (1955) 269—282. Tam je uvedena další literatura.

2) Spectateur du Nord (1797) octobre 55 sq. Srov. také výrok P. A. Plavilščikova, který — snad ve vztahu k Slovu — mluví o veršovaném poematu; o tom П. Н. Берков, *Заметки к изучению «Слова о полку Игореве»*, Труды отд. др.-русс. лит. VI, Москва-Ленинград 1947, АН СССР, Инст. русс. лит., 135—136.

3) *Ироическая песнь о походе на половцов...* Москва 1800; toto první vydání mluví o písni už v cit. názvu na titulním listě, podobně pak v názvu novoruského překladu na str. 1; v úvodu na str. VI mluví vydavatelé o poematu.

4) Kritický přehled literatury, zabývající se těmito otázkami, podávám ve větší, dosud neuveřejněné práci. Jinak srov. všeobecné přehledy, a to zejména: П. В. Владимиров, *Литература «Слова о полку Игореве» со времени его открытия по 1894 г.*, Университетские изв., Киев (1894) № 4; Н. К. Гудзий, *Литература «Слова о полку Игоре» за последнее двадцатилетие* (1894—1913), Журн. мин. нар. просв. (1914) № 2, a také dvě stati V. Ržigy v Slavii 4 (1925—1926) 44—62; 6 (1927—1928) 352—379. — *Слово о полку Игореве*, библиогр. указ., сост. О. В. Данилова, Е. Д. Поплавская, И. С. Романченко, ред. С. К. Шамбинаго, Москва 1940, Гос. библиотека им. Ленина, 140 стр. — А. А. Дмитриев, *Слово о полку Игореве, библиография изданий, переводов и исследований 1938—1954*, Москва 1955, АН СССР, 90 стр. — Ф. М. Головенченко, *Слово о полку Игореве, историко-литературный и библиографический очерк*, Москва 1955, МГПИ им. Ленина, 487 стр.

jakožto byliny, alliterované básně skandinavského typu a pod. Proto také tolik střízlivě zdrženlivých badatelů hledalo a hledá rodokmen Slova v oblasti prózy, zejména ve vojenských pověstech (povídkách), ale také v oblasti památek řečnických. Nejistá zůstává stále osoba autorova a dosti rozmanité jsou výklady stylistické. Poměrná shoda zavládla aspoň v tom, že Slovo nutno pokládat za výtvor knižní, a nikoli za záznam ústní slovesnosti. Ale ani v tom nepanuje zdaleka jednomyslnost: ještě r. 1941 objevila se doktorská disertace A. I. Nikiforova,[5]) ve které se Slovo přímo vyvozuje z ústního bylinného eposu, ačkoli s podobnou hypothesou už ztroskotal svého času znamenitý znalec srovnávací metriky, akademik F. Je. Korš.[6]) Tento badatel, do jisté míry polyglot, zahloubal se s úctyhodnou vytrvalostí m. j. také do problematiky bylin a pokusil se (ostatně způsobem velmi složitým) vysvětlit jejich metrické zákonitosti, které byly také jedním z čelných problémů filologie a folkloristiky.[7]) Přílišná důvěra ve vlastní názory o metrice bylin, názory dnes už ovšem také zastíněné dalším vývojem, strhla ho k domněnce, že také výstavbu Slova lze vysvětlit podle této ne dosti ověřené teorie bylinného verše.

Koršova domněnka, že Slovo bylo složeno veršem bylin, nebyla přijata. Hlavní důvody pro její odmítnutí shrnul a nové důvody pro to snesl už před třiceti lety zejména V. Ržiga v jednom z dvou závažných pojednání o této problematice, otištěných v Slavii v letech 1925—1928.[8])

Chyby Koršovy chtěl se vyvarovat přední současný badatel o versifikaci ruských bylin, M. P. Štokmar, který řadu let pracoval na kritice starších výkladů ruského lidového verše a poučen z jejich slabin, vydal později zevrubný spis o ruské lidové versifikaci, zvláště bylinné.[9])

R. 1941 uveřejňuje Štokmar kritický přehled prací o rytmice Slova, v němž naznačenou už složitou problematiku umělecké výstavby, struktury, provenience a druhové příslušnosti této památky vymezuje a omezuje právě jako otázku jejího rytmu a vystupuje zásadně proti všem druhům a odstínům domněnek o veršové skladbě Slova. Štokmar píše: „Organisace řeči podle jednotného systému toho či onoho typu je specifická zvláštnost verše... V »Slově o pluku Igorově« v té podobě, jak je známe, není možno sledovat jednotný systém zvukové organisace jakéhokoli typu. Taková organisace v něm není. Badatelé, správně odvozující zvukovou organisaci »Slova« *od různých systémů, od mnohosystémovosti*, tím samým navzdory předpojatému úkolu dokázat veršovou osnovu »Slova« potvrzují *prozaickou* povahu jeho zvukové organisace.“[10])

---

[5]) Tištěné these doktorské disertace z května r. 1941 a stať А. И. Никифоров, *Проблема ритмики «Слова о полку Игореве»*, Уч. зап. Лен. пед. инст. им. М. Н. Покровского, т. IX, Фак. яз. и лит., вып. 2, 1941, cit. podle N. K. Gudzije, *Судьбы печатного текста «Слова о полку Игореве»*, Труды отд. др.-русс. лит. VIII, 1951, АН СССР, 44—45. — Srov. podrobně F. M. Golovenčenko, 373—377 et pas.

[6]) Ф. Е. Корш, *Слово о полку Игореве*, Санктпетербург 1909 (Исслед. по русс. яз. II, 6).

[7]) Ф. Е. Корш, *О русском народном стихосложении*, Санктпетербург 1901 (Сб. отд. русс. яз. и слов. АН, LXVII, № 8).

[8]) В. Ржига, *Проблема стихосложения Слова о полку Игореве*, Slavia 6 (1927—1928) 364—367.

[9]) М. П. Штокмар, *Исследования в области русского народного стихосложения*, Москва 1952, АН СССР, Инст. мир. лит., 423 стр.

[10]) «Организация речи по единой системе того или иного типа — отличительная особенность стиха... В „Слове о полку Игореве“ в том виде, как мы его знаем,

Štokmar tedy pokládá Slovo za součást staroruské prózy a klade je po bok pověstem. Není třeba na tomto místě se pouštět do důkladného rozboru stanoviska Štokmarova, které rovněž nemohlo postavit hráz přílivu domněnek a názorů dalších. Nutno však podotknout aspoň toto: 1. Štokmar vycházel především z nemožnosti uznat Slovo za výtvor složený veršem bylin; 2. zdaleka ne všichni zastánci názoru o veršové povaze Slova odvozovali jeho rytmickou organisaci od několika systémů zároveň; 3. dokázat rytmickou různorodost Slova bylo v té chvíli asi stejně těžké jako dokázat jeho rytmickou jednolitost; bez zřetele k celému komplexu souvisících otázek nebylo otázku rytmiky Slova možno spolehlivě řešit ani kladně, ani záporně.

O to však zde neběží. Běží o pozoruhodnou a jistě ne náhodnou okolnost, že uvedeného výroku Štokmarova se dovolává za několik let I. P. J e r e m i n, ačkoliv jinak ostře odmítá většinu předchůdců.[11]) Zajímavé je toto navázání zejména pro poznání polemického pracovního postupu Jerëminova: většinu předchozích názorů prostě odmítá, aniž by poměrně malý prostor svých statí zatěžoval jejich kritikou; opírá se jen o ty jednotlivé výroky, které mu pomohou k vyloučení jiných závěrů, než jaké hodlá sám učinit, a zas i to dělá bez uvedení celého kontextu, v němž tyto výroky byly proneseny. Záměrné je toto navázání především proto, že vyloučení možnosti veršového složení Slova je nutným uvedením vlastní domněnky Jerëminovy o *řečnické povaze* památky. Jeho polemickému elánu přitom nijak nevadí, že Štokmar klade Slovo do oblasti zcela jiného slovesného druhu než on sám, a že těžištěm práce Štokmarovy je otázka rytmu Slova, kdežto on sám uvažuje výslovně o jeho žánrovém zařazení.

Jereminovy názory jsou hodny bližší pozornosti z několika důvodů: 1. Jeremin se pokouší o vypracování nového stanoviska, které by bylo podstatně odlišné od hlavních známých názorových proudů. 2. Jereminovy výklady a formulace jak otázek, tak i řešení jsou do značné míry charakteristické pro vývoj a stav bádání o této problematice; názorně zdůrazňují jeho klady i slabiny zejména metodologické. 3. Jereminovy práce jsou dokladem skutečného stavu v oblasti teorie literatury a odhalují její vážné nedostatky. Jeremin udělal a shrnul tolik zajímavých jednotlivých pozorování o Slově, že už proto si zaslouží více pozornosti, než kolik ukazují dosavadní reakce. Mimo to další postup bádání o umělecké výstavbě Slova ukazuje, že přes ty Jeremi-

---

невозможно проследить единую систему звуковой организации какого бы то ни было типа. Такой организации в нем нет. Исследователи, правильно аргументирующие звуковую организацию „Слова“ *от различных систем, от многосистемности*, тем самым, вопреки предвзятому заданию доказать стихотворную основу „Слова“, подтверждают *прозаическую* природу его звуковой организации. — М. П. Ш т о к м а р, *Ритмика «Слова о полку Игореве» в свете исследований XIX—XX вв.*, Старинная русская повесть, Статьи и исследования, ред. Н. К. Гудзий, Москва-Ленинград 1941, АН СССР, 78 (podtrhl Štokmar).

[11]) И. П. Е р ё м и н, *Слово о полку Игореве (К вопросу о его жанровой природе)*, Уч. зап. ЛГУ, № 72, серия филол. наук, вып. 9, Ленинград 1945, Лен. Гос. Унив., 5.

novy názory, které se nám nezdají přijatelnými, nelze postoupit bezpečně, dokud přijímáme jeho dosti všeobecný způsob diskuse a nesáhneme hlouběji ke kořenům faktů a pojmů. A o to právě běží v tomto článku.

Jeremin vyložil své stanovisko podrobně dvakrát: po prvé r. 1943 v přednášce o žánrové podstatě Slova, která byla pronesena ve shromáždění evakuovaných leningradských filologů v Saratově a otištěna zkráceně r. 1945 v leningradském universitním časopise,[12]) po druhé v jednom z jubilejních sborníků z r. 1950 v stati označující Slovo za památku politického řečnictví.[13])

Názory, které Jeremin vyslovil, byly po prvé i po druhé vzaty na vědomí dosti lhostejně: nebyly v podstatě přijaty a noví zájemci o danou problematiku přes ně přešli, jako by jich skoro ani nebylo, a nedali si práci podrobit je zevrubné kritice, což právě je do jisté míry charakteristické pro vývoj bádání o této věci. Nevychází se často z důkladného zhodnocení vší starší vykonané práce, proto se některé úvahy musí opakovat, druhdy i s chybami. Tak po první stati Jeremінově a současně s jeho druhou statí objevuje se návrh rytmického rozčlenění Slova od D. S. Lichačeva s průvodními studiemi a komentáři, kde sice autor bere aspoň částečně v úvahu řečnické prvky zdůrazněné Jereminem,[14]) ale nevyrovnává se zásadně ani s jeho hypothesou, ani na př. se Štokmarovým tvrzením, že v Slově není rytmické jednoty. Zásadně, ale nicméně jen lakonicky, vyjadřuje se k jedné z Jereminových prací N. K. Gudzij, který ji pokládá za „zajímavou a obsažnou v jednotlivých pozorováních, ale jednostrannou v obecných thesích".[15])

V Československu měla určitý ohlas první Jereminova stať: zaujala její problémovost a její polemický ráz — a pak — byla to jedna z prvních nových prací tohoto druhu a z této vědní oblasti, která zde byla brzy po válce po ruce. Zprávu o ní podal r. 1947 Karel Horálek, který ji chápe jako zajímavý příspěvek k otázce tvarového charakteru Slova, soudí však, že Jeremin k této otázce neřekl poslední slovo.[16]) R. 1949 reaguje na první Jereminovu stať hutnou zkratkou v Rostoharově sborníku Frank Wollman; ukazuje na nutnost chápat literárně teoretické kategorie historicky a ve světle ideového záměru díla naznačuje četné jiné souvislosti formové a druhové, než na které se omezil Jeremin.[17]) Na oba české předchůdce navázal jsem r. 1950 v přehledu o stavu výzkumů Slova,[18a]) který jsem podával ještě před bohatou úrodou nových prací vyšlých k 150. výročí 1. vydání díla. Odmítaje rovněž jednostrannost koncepce Jereminovy, nepokládal jsem otázku žánrové příslušnosti Slova za příliš obtížnou v té chvíli a domníval jsem se, že proti jednostranným koncepcím je třeba na tuto otázku odpovědět právě obecnější formulací spojující

---

[12]) Viz zde pozn. 11. Celá stať o. c. 1—18.

[13]) И. П. Ерёмин, *«Слово о полку Игореве» как памятник политического красноречия Киевской Руси*, Слово о полку Игореве, сб. исслед. и статей, ред. В. П. Адрианова-Перетц, Москва-Ленинград 1950, АН СССР, Инст. русс. лит., 93—129.

[14]) Д. С. Лихачёв, *«Слово о полку Игореве» (историко-литературный очерк)*, Слово о полку Игореве, ред. В. П. Адрианова-Перетц, Москва-Ленинград 1950, АН СССР (Литературные памятники), 251—252.

[15]) «... интересную и содержательную по отдельным наблюдениям, но одностороннюю по общим положениям ...» — Н. К. Гудзий, *Судьбы ...*, Труды VIII, 128. (Srov. zde pozn. 5.)

[16]) Karel Horálek, *K otázce tvarového charakteru Slova o pluku Igorově*, Slovo a slovesnost 10 (1947) 112—114.

[17]) Frank Wollman, *Tvaroslovné určení Slova o pluku Igorově*, Psychologie časopis pro teor. i užitou psych. 12 (1949) 108—112 (číslo 3—5, Psychol. sb. vydaný na počest Mihajla Rostohara).

[18a]) Slavomír Wollman, *Slovo o polku Igoreve. Stav výzkumů 150 let po 1. vydání* Slovesná věda 3 (1950) 145—146.

různé postřehy, a že takové spíše náznakové řešení stačí a bude vyhovovat. Rovněž stručně reagoval Antonín Dostál na druhou ze statí Jereminových; naznačil neudržitelnost jeho výkladu výrazu *slovo*.[18b]) Avšak jubilejní vědecká žeň právě ukázala, že trvá vedle sebe bez velké naděje na smírnou kombinaci několik protichůdných názorů: jeden má Slovo za výtvor veršovaný, druhý za dílo prozaické, třetí za památku řečnickou.

Za těchto okolností ovšem žádné řešení podané jen v hrubých rysech a omezující široký komplex problematiky jen na žánrové vymezení nemá naději, že by odolalo námitkám. Za těchto okolností rovněž nemůže uspokojit jen obecná kritika Jereminovy koncepce, zvláště když Jeremin další statí se potvrdil jako hlavní zastánce jedné z tří rozdílných hypothes. Za těchto okolností je ovšem povinností dalšího bádání vrátit se k Jereminovým názorům a podrobit zkoušce jejich nosnost již proto, že právě Jeremin nejvíce vyhrotil existující rozpory. Přitom ovšem neběží ani tak o Jeremina, jako o metodu literární vědy, zejména vzhledem k výzkumu starších období.

Dvě stati, v nichž Jeremin podal své hlavní názory, mají společnou koncepci, která je dostatečně vyložena už v první z nich. Proto také rozbor této starší práce je pro posouzení celého stanoviska rozhodující a vlastně postačující. Materiál práce novější může to již jen doplnit. Ale jinak jsou mezi těmito statěmi také rozdíly, které nutno uvést. Především stať první je více polemicky útočná, zkratkovitější, stať druhá se více soustřeďuje na positivní výklad vlastního stanoviska než na negaci stanovisek cizích, méně teoretisuje a více analysuje samo zkoumané dílo. A za druhé stať první je v mnohém ohledu srovnávací (Jeremin přece působil v prostředí leningradské školy komparatistů), kdežto stať druhá se od srovnání a důvodů na něm založených zcela zřetelně odklání.

V prvé své stati, vydané r. 1945, Jeremin nejprve několika v pravém smyslu slova říznými tahy provádí kritiku dosavadních názorů, či přesněji: některých z nich, a i to ovšem neobyčejně stručně. Dělá to s pohotovostí zkušeného debatéra, který umí velmi bystře vyhledávat slabiny a rozpory. V dosavadním bádání shledává Jeremin v podstatě dvě protikladné koncepce, veršovou a prozaickou.[19]) Své námitky soustřeďuje hlavně proti zastáncům názoru o tom, že Slovo bylo složeno veršem.[20]) Nebylo to, pravda, pro něho příliš těžké, když zdůraznil takové vratké hypothesy, jaké vyslovili Dubenskij, Tichovskij nebo Abicht.[21]) Jeremin se ostatně nepouští do podrobné a přesné

18b) Antonín Dostál, *Les derniers travaux soviétiques relatifs au « Slovo o polku Igoreve »*, Byzantinoslavica 13 (1952—1953) 290—291.

19) И. П. Ерёмин, Уч. зап. ЛГУ 3. (Srov. zde pozn. 11.)

20) Ibid. 3—5.

21) Д. Дубенский, *Опыт о народном русском стихосложении*, 1828, a *«Слово о полку Игореве», Святъславля песнотворца старого времени, объясненное по древним письменным памятникам*, 1844. — Ю. Тиховский, *Прозою или стихами написано «Слово о полку Игореве»?* Киевская старина (1893) № 10 (октябрь). — Rudolf Abicht, *Слово о плъку Игоревѣ. Das Lied von der Heerschaar Igorj's, Abdruck der editio princeps nebst altslovenischer Transkription und Commentar*, Leipzig 1895.

kritiky předchůdců. Tak na př. Korše[22]) a Sieverse[23]) uvádí jedním dechem při zmínce o pokusech užít „takových schemat západoevropské hudby“,[24]) ačkoli jejich skutečné názory si byly značně vzdálené.

Příznivěji hovoří Jeremin o těch, kdo soudili, že Slovo je památkou prozaickou. Nejen citovaný už Štokmar, ale také Tichonravov, Peretc a částečně i Barsov[25]) nalézají u něho porozumění tím, že stanovili knižnost památky, její souvislost s tradicemi psané slovesnosti. Jeremin jenom poznamenává, že vedle shod s t. zv. vojenskými pověstmi jsou zde i značné rozdíly, a že tyto rozdíly (v pověsti převaha faktického výkladu nad obrazovostí, uměřenost rétorických okras atd.) poznal již Orlov.[26])

Největší odpor Jereminův vzbuzuje pak to, co nazývá „eklektickou posicí“, totiž pokusy chápat Slovo zároveň i jako pověst i jako poema, „eklekticky spojit, smířit mezi sebou dvě různá řešení problému žánru“, jak se o to pokusil na konec m. j. Barsov.[27]) Eklekticismus je silné slovo. Dodejme proto hned, že je u Jerëmina zcela vyloučeno nějaké osobní zahrocení, neboť tato jeho etiketa platí pojetí velmi rozšířenému a zahrnuje tedy rázem velkou řadu předchůdců různých generací. Dodejme také, že toto znehodnocující označení nezabránilo tomu, aby se k odsouzené koncepci nehlásili další badatelé a mezi nimi i takový znalec jako Gudzij.[28])

Ve snaze zavést lepší pořádek do literárněvědných kategorií, která se u Jerëmina — ať už vědomě nebo podvědomě — projevuje, praví Jerëmin o uvedeném kombinovaném stanovisku, že tento „pokus . . . je s vědeckého hlediska naprosto neplodný; jenom mate i bez toho složitou otázku, aniž nás v jakékoli míře přibližuje k jejímu rozřešení“.[29])

V tom má Jeremin zřejmě pravdu, pokud myslí na všechny ty případy, kdy se otázka příslušnosti Slova k některému slovesnému druhu ve skutečnosti přechází nebo obchází více méně nezávaznými poznámkami o tom, že

---

[22]) Srov. zde pozn. 6.

[23]) Eduard Sievers, *Das Igorlied metrisch und sprachlich bearbeitet*, Berichte über die Verhandl. der Sächs. Akad. der Wiss., Philol.-hist. Kl., 78 (1926) H. 1.

[24]) «Были, наконец, и попытки восстановить стихотворную структуру „Слова“ и при помощи тактовых схем западно-европейской музыки (Ф. Корш, E. Sievers).» — И. П. Ерёмин, Уч. зап. ЛГУ 5.

[25]) Н. С. Тихонравов, *Слово о полку Игореве*, издано для учащихся, 1. изд., 1866, 2. изд., 1868. — В. Н. Перетц, *К изучению «Слова о полку Игореве»*, Изв. ОРЯиС 28 (1924) 145—199; 29 (1924) 23—55; 30 (1925) 143—204. — Totéž knižně: Moskva 1926, AN SSSR, 149 str.

[26]) И. П. Ерёмин, Уч. зап. ЛГУ 5—7. — Srov. А. С. Орлов, *Слово о полку Игореве*, 2. изд., Москва 1946, АН СССР, 44 et pass.

[27]) «. . . эклектически объединить, примирить между собой два различные решения проблемы жанра . . .» — И. П. Ерёмин, Уч. зап. ЛГУ 7.

[28]) Srov. Н. К. Гудзий, *История древней русской литературы*, изд. 5., пераб., Москва 1953, Учпедгиз, 112—138; tu ve zvláštní kapitole věnované Slovu shrnuje Gudzij názory, k nimž se dospělo a znovu poukazuje na různé stránky umělecké výstavby Slova.

[29]) «Попытка . . . в научном отношении совершенно бесплодна; она только запутывает и без того сложный вопрос, ни в какой степени не приближая нас к его разрешению.» — И. П. Ерёмин, Уч. зап. ЛГУ 7.

autor sám je nazýval i písní i pověstí, a že s oběma těmi druhy má památka cosi společného. Dělalo se to opravdu dost často a zvláště v pracích popularisačních a v synthetických příručkách, kde bylo třeba o tom něco povědět, ale autoři nešli a někdy ani nemohli jít do merita problematiky.

Dále však již věci vypadají jinak. Jeremin tvrdí: „Taková formulace odporuje všemu, co je nám známo o světovém literárně historickém procesu: nikde, ani v jedné literatuře hrdinské epos a historická pověst nevstupovaly ve spojení; jednotlivé prvky jednoho druhu zapojující se do systému druhého, nikdy věc neměnily; — žánrová isolovanost se přitom vždy zachovávala už prostě proto, že ustáleným znakem hrdinského eposu, v každém případě evropského, byla vždy veršová forma.“[30]) V tom Jeremin zřejmě pravdu nemá, nehledě na to, že „pověst“ a „poema“, o kterých sám mluvil dříve, resp. básnické a prozaické rysy, o kterých v tom, či onom vymezení hovořili zastánci oné „eklektické posice“, mění a přívlastky ohraničuje na „hrdinské epos“ a „historickou pověst“. Jeremin zaměňuje pojmy, které patří do různých pojmových řad, ztotožňuje epiku s básnictvím a klade ji proti próze, zastoupené pověstí. To není možné a správné ani při omezení na epos hrdinské a pověst historickou: tyto dva slovesné druhy (stejně jako všecky ostatní) nepředstavují nic shora daného a trvale existujícího v určitých přesných hranicích. Hrdinské epos je často historické: hned na př. to platí značnou měrou o bylinném eposu ruském. Historická pověst zas často bývá zároveň pověstí hrdinskou: hned na př. to platí o českých pověstech nejstaršího okruhu. A pak — pověst vůbec je typickým druhem epickým, je součástí epiky. (Pojmy *epiky* a *eposu* kryjí se v ruštině pod jediným označením *эпос* a to ovšem nutně působí obtíže Jereminovi i jiným.) Nelze také rozhodně souhlasit s tím, že by bez verše nebylo a nemohlo být eposu: takové mínění by se hodilo nejvýše těm, kdo by ještě dnes chtěli mluvit o „národech epických“ na rozdíl od národů bez eposu, a proto i bez vlastních národních dějin; k těmto by pak náležely ovšem i národy, u nichž se zachovala jen epika prozaická.

Slovesný rod s sebou nenese veršový nebo prozaický způsob podání, ať již je řeč o epice, lyrice nebo dramatice. Ale ani s představou slovesného druhu není nezbytně svázán buď veršový nebo prozaický způsob. Je na př. známo, že tak výrazně prozaický druh epický jako soudobý román má vzdálené prapředky v básnických románech středověkých a méně vzdáleného předka v románu ve verších pěstovaném zejména ve století 19. A ostatně na př. s výkladem versifikace bylin nebo dum zápolí věda už dvě století a přesto nikoho nenapadne, aby proto pochyboval o jejich epickém rázu.

---

[30]) «Такая формулировка противоречит всему, что нам известно о мировом историко-литературном процессе: нигде, ни в одной литературе героический эпос и историческая повесть не вступали в соединение; отдельные элементы одного жанра, включающиеся в систему другого, дела никогда не меняли; жанровая обособленность при этом всегда сохранялась уже по одному тому, что устойчивым признаком героического эпоса, европейского во всяком случае, была всегда стихотворная форма.» — Ibid. 7.

Pojem poematu byl do materiálu 12. století vnesen anachronicky a neprávem, ovšem už před Jereminem. Skutečně v té době málo vysvětluje a hodně zatemňuje.

Vysloviv stanovisko k dosavadnímu bádání, pokouší se Jeremin o řešení vlastní, neeklektické a vyhraněné. Nehledě na „eklektické posice“, viděl Jeremin v dosavadním bádání dvě hlavní protikladné koncepce. Sám předkládá koncepci třetí: *Slovo není ani píseň, ani pověst, ale řeč.* Praví:

„Jeho žánrová povaha je dostatečně průhledná: všechny prvky jeho umělecké struktury tvoří systém, vlastní žánru, který už má i svou historii i své tradice v literatuře Kyjevské Rusi 11.—12. stol. Kterému jmenovitě, — ukazuje sám autor »Slova«, který nikoli náhodou nazval svůj výtvor «slovem».“[31])

Jeremin pokládá tedy za nepochybné, že název «Слово о плъку Игоревѣ» pochází přímo od autora, a soudí, že už v tomto názvu autor určil druhovou příslušnost Slova. Zcela přirozenými a několikrát už vyslovenými pochybnostmi o původnosti tohoto názvu se Jeremin nezabývá a nepovažuje na nutné zajistit se proti námitkám tohoto druhu. Jeremin rovněž pokládá za nepochybné, že název „slovo“ volil autor právě v tom významu, který on sám má na mysli, a nezajišťuje se ani proti zcela přirozeným a oprávněným připomínkám, že tohoto názvu mohlo být užito snad i v jiném, posunutém nebo přeneseném významu. Autor mohl na př. volit právě tento název v záměrném protikladu k církevním slovům nebo ve snaze hladce uplatnit pod jejich názvem jako pod krycím označením své docela jinak myšlené dílo.

Vycházet za těchto okolností při budování nějaké koncepce o druhové příslušnosti památky od jejího názvu, znamená jít hned od počátku po velmi nejisté půdě. Tato cesta pak přirozeně vede tam, kam zašli také mnozí jiní badatelé, k tomu, že se přikládá nepoměrně velký význam výrazům *пѣснь* a *повесть,* kterým se věnuje pozornost i na úkor literárněvědného rozboru památky samé. A přece jenom výsledky takového rozboru mohou odpovědně rozhodnout o tom, ke kterému slovesnému druhu dílo patří s hlediska vědy, a nikoli s hlediska sporných a subjektivních výroků autorových.

Pro Jeremina je označení *слово* už samo o sobě přesvědčující. Několikrát ve svých statích tvrdí, že v 12. století to byl už přesně konstituovaný termín, který do písmene odpovídal řeckému λόγος a kterým se na Kyjevské Rusi zásadně označovala řečnická díla. Jeremin dokonce říká, že to tehdy na Rusi byl už terminus technicus. Stálo by za to, prozkoumat všechny výtvory uvedené na Rusi do konce 12. století pod názvem „слово“ a hledat jejich společné žánrové znaky, nějaké charakteristické rysy „slovové“. Velká rozmanitost byla by patrně jedním z význačných výsledků tohoto hledání. A nebylo by divu ani v případě „slov“ církevních. Není historické předpokládat, že za poměrně krátkou dobu prudkého ruského vývoje se *слово* stalo přesným termínem, a že vůbec je možné v té době mluvit o pevné terminologii umělecké literatury a jejích druhů. A i kdyby bylo

---

[31]) «Жанровая природа его достаточно прозрачна: все элементы его художественной структуры образуют систему, свойственную жанру, уже имеющему и свою историю и свои традиции в литературе Киевской Руси XI—XII вв. Какому именно, — указывает сам автор „Слова“. Он не случайно назвал свое произвеление „словом“.» — Ibid. 8.

možno o takové terminologii pro tu dobu mluvit aspoň s výhradou, nebylo by správné jí podléhat: není správné dát se vést ani terminologií období daleko mladších. Takové kategorie jako slovesné druhy a jejich označení nelze především chápat jako kategorie neměnné, ale jako kategorie historicky proměnlivé, podléhající vývoji. Už proto není účelné přistupovat k takovým „termínům" jako *слово, пѣснь, повесть* s představou, že to jsou pojmy označující přesně a výrazně rozhraničené kategorie. Neúčelnost takové představy dokazují hned výklady Jereminovy o přeneseném významu slov *пѣснь* a *повесть* v oblasti řečnictví. Na tento příklad nelze zapomenout, uvažujeme-li o „termínu" *слово*.

Místo toho dovolává se Jeremin — aspoň v první své stati (na str. 8) — terminologie řecké a tvrdí, že termínem λόγος se již v antické literatuře 5.—4. století obyčejně označovala *veřejná řeč,* v byzantské literatuře pak již *řeč slavnostní.* Toto tvrzení je především v rozporu s tak známou skutečností, jako je mnohoznačnost řeckého λόγος. Stačí namátkou připomenout, co o tom obsahuje některý ze slovníků střední velikosti, na př. řecko-český slovník Prachův. Za řec. λόγος uvádí tato příručka m. j. následující rozmanité významy: slovo, řeč, mluva, rozmluva, jednání, výrok (věštírny), rozkaz, zpráva, vypravování, pověst, událost, dějiny, výklad, rozbor, próza, oddíl knihy, bajka, návrh, podmínka, možnost (příležitost) mluviti, způsob řeči, výraz, věta, látka, thema, pojem, porada, myšlenka, tvrzení, plané mluvení, přísloví, spis, kniha, pojednání, věc, jméno, sláva, přednáška, umění řečnické.[32]) Tento seznam snad není třeba dlouze komentovat.

Nelze tedy tvrdit, že λόγος znamená „řeč", že je to přesný technický termín. I kdyby se řeklo, že je to míněno výslovně v oblasti řečnictví, nebylo by to pro daný případ nic platné. Nelze přece říci, že Slovo u pluku Igorově je řečnický výtvor proto, poněvadž označení „slovo" neboli „λόγος" má *v oblasti řečnictví* platnost termínu, označujícího řeč. I to by byla chyba argumentace.

Jeremin uvádí, že „slova" mívala zpravidla *vstup* (προοίμιον) vyprávěcí část neboli *pověst* (διήγησις) a *závěr* (ἐπιλογος). Podává dobré příklady vstupů (úvodů), které se podobají úvodní části Slova.[33])

Zvláštní vstupní, úvodní část není ovšem výsadou děl řečnických. Vyskytuje se hojně také v nejrůznějších jiných slovesných výtvorech a také ovšem v ostatních uměleckých výtvorech, které trvají v čase, mají rozpětí od začátku do konce, tedy v umění hudebním, tanečním a pantomimickém i filmovém; v umění divadelním (činoherním i operním) plyne samozřejmě možnost takových vstupů z literárního textu. Je-li taková vstupní část poměrně samostatná, říká se jí obyčejně *prolog,* tedy řec. πρόλογος. Prologem se takový vstup jmenuje bez ohledu na to, o který umělecký rod nebo druh v daném případě běží, tedy nejen v případě řeči, řečnického slova (λόγος v pojetí Jereminově). V případě řeči se takový vstup dokonce nejmenuje πρόλογος, nýbrž προοίμιον, jak již víme od Jeremina. Hned tato okolnost

---

32) Václav P r a c h, *Řecko-český slovník,* Praha 1942, Springer.
33) И. П. Е р ё м и н, Уч. зап. ЛГУ 9—10.

upozorňuje tedy, že to se samým výrazem a „termínem" λόγος není tak jednoduché.

Jistě plným právem bylo možno očekávat, že Jeremin uvede specifické zvláštnosti, kterými se vstup řečnický liší od prologu neřečnického. Stejným právem bylo možno očekávat, že vymezí také zvláštnosti řečnického epilogu. Nestalo se tak. Jeremin pouze tvrdí, že pochvalný, oslavný epilog je tradiční součástí řečnického výtvoru a místo odůvodnění dodává, že podle toho možno památku počítat k pochvalným řečem k poctě vítěze (ἐπινίκιον).[34] Je však známo, že Igor byl poražen, že autor na jeho adresu mluví také jiným než pochvalným tónem, že dílo zdaleka není soustředěno na jednoho hrdinu a že má docela jiné cíle než oslavné a pochvalné (epideiktické).

Jinak je třeba dodat, že prology a epilogy mohou mít do jisté míry specifické zvláštnosti podle toho kterého rodu nebo druhu, tak na př. prology epické, úvodní a závěrečné části u některých druhů slovesnosti ústní, prosceniové prology nebo epilogy dramatické. Kdyby však podle vstupu nebo závěru měl být určen druh či aspoň rod, ke kterému dané dílo náleží, musily by to být zvláštnosti opravdu velmi výrazné a dobře doložené. Povšechné poznámky v takovém případě nemohou stačit. Ostatně na př. úvodní část Slova bývala už dříve srovnávána s jinými výtvory, a to důkladněji než u Jeremina. Zejména se poukazovalo na shody s úvody eposů, hlavně klasických. Samozřejmě se však z toho nedělal závěr o příslušnosti Slova k takovému eposu.

Značnou překážkou pro Jereminovu koncepci mohla být ústřední, hlavní část Slova. Jeremin však pohotově vysvětluje, že „část vyprávěcí . . . je organickou náležitostí řeči vůbec a epideiktické zvláště", a že na př. „»slova« Kirilla Turovského všechna bez výjimky ve své ústřední části představují *vyprávění*".[35])

Tuto generalisaci však nelze udržet, když se sáhne k dokladům z antických literatur, kterých se Jeremin jindy rád dovolává. Vyprávění přece mohlo v řečnictví být jen tvárným postupem podřízeným rétorickému cíli a není ani třeba dokazovat, že vyprávění netvořilo jádro a podstatu klasických řečí antických (Demosthenes, Cicero a j.). To zřejmě cítí i sám Jeremin. Proto říká, že „»pověst«, διήγησις, v rámci řeči je docela zvláštní forma vyprávění, vládnoucí svými, jen sobě vlastními zvláštnostmi umělecké struktury. Od »pověsti« obvyklého typu se liší především tím, že existuje nikoli samostatně, ale vždy jen jako součást výtvoru žánrově zcela jiného, — jmenovitě »slova«, řeči. Jsouc čtena v rámci řeči, podřizuje se jejímu záměru, její obecné tonálnosti, je proniknuta prvky orátorské rétoriky, někdy dokonce ztrácí svou narrativní povahu, přepojuje se ve svérázný monolog v mezích lyricko-epického vyprávění".[36])

---

[34]) Ibid. 13—14.

[35]) «. . . часть повествовательная . . . — органическая принадлежность любой речи и эпидейктической — в частности.» — «Все, без исключения, „слова" Кирилла Туровского, например, — в центральной своей части представляют собою *повествование*.» — Ibid. 11 (podtrhl Jeremin).

[36]) «. . . „повесть", διήγησις, в составе речи — совсем особая форма повествования, обладающая своими, только ей свойственными особенностями художественной структуры. От „повести" обычного типа она отличается прежде всего тем, что существует не самостоятельно, а всегда только в качестве составной части совсем иного

Podle tohoto výroku Jereminova nebylo by však možno diegesi řečnickou od pověsti (na př. od vojenské pověsti) rozeznat jinak, než tak, že diegesis na rozdíl od pověsti není sama slovesným druhem, nýbrž jen jistou náležitostí, složkou ve výtvorech druhů řečnických. Jeremin to dokonce označuje za hlavní znak diegese. Je to logické a není v tom nic nesprávného. Určující specifické rysy diegese z toho ovšem patrné nejsou. A má-li to dokazovat příslušnost nějakého výtvoru k řeči jako slovesnému druhu, pak to není než dokazování item per item: vyprávěcí část je náležitostí, součástí řeči a nazývá se v ní diegesis; od obvyklé pověsti se liší tím, že je náležitostí, součásti řeči; proto výtvor s vyprávěcí částí budiž považován za řeč. — Tímto způsobem bylo by možno kterékoli dílo obsahující vyprávění prohlásit za dílo řečnické.

Jeremin dokonce jednoznačně tvrdí, že „»pověst« o Igorově pochodu na Polovce, která se stala součástí »Slova o pluku Igorově«, v tomto smyslu nejen nepředstavuje žádnou výjimku, ale dokonce může sloužit jako *typický* příklad právě takového vyprávění".[37]) Musí proto uvést důvody určitější a jistější. Ve snaze podat takové důvody Jeremin tvrdí, že v „»Slově« není souvislého líčení Igorova pochodu a všech okolností spojených s tímto pochodem", že „líčení se rozpadá v řadu efektních fragmentů, episod", že „odbočení od základního vyprávění... je postup, který dosáhl největšího rozšíření v řečnictví vůbec, v epideiktickém zvláště", že „vůbec jednou z nejcharakterističtějších zvláštností »Slova o pluku Igorově« je ostré oslabení narrativního živlu", a že „autor..., řečník, a nikoli historik, nikoli letopisec, nejméně ze všeho se stará o historickou hodnověrnost událostí".[38])

Pokud běží o souvislost líčení, soudí však většina badatelů opačně a vnější rozdělenost jednotlivých „episod" nebude asi již možno chápat jinak než jako komposiční prostředek, který na souvislosti vnitřní sotva co mění. Případy takového komponování látky jsou rozšířené v různých literaturách různých dob, a to zejména u děl epických. Pro vytvoření obrazové tkáně slovesného díla je to prostředek normální a zcela běžný, který je aspoň do jisté míry nezbytný vždy právě pro tu obrazovost: sdělení v konkretních obrazech musí přece vždy být do jisté míry *přetržité*, neboť slovesné dílo umělecké má

по жанру произведения, — именно „слова", речи. Читаясь в составе речи, она подчиняется ее замыслу, ее общей тональности, проникается элементами ораторской риторики, порою даже теряет свою нарративную природу, переключаясь в своеобразный монолог в рамках лиро-эпического повествования.» — Ibid. 12.

[37]) «Вошедшая в состав „Слова о полку Игореве" „повесть" о походе Игоря на половцев в этом отношении не только не представляет собою какого-либо исключения, но даже может служить *типичным* примером именно такого повествования». — Ibid. 12 (podtrhl Jeremin).

[38]) «В „Слове" нет связного рассказа о походе Игоря и всех сопутствующих этому походу обстоятельствах; рассказ распадается на ряд эффектных *фрагментов, эпизодов* ...» — «Отступление от основного повествования ... — прием, получивший широчайшее распространение в красноречии вообще, эпидейктическом — в частности ...» — «Резкое ослабление нарративной стихии — вообще одна из наиболее характерных особенностей „Слова о полку Игореве" ...» — Ibid. 12. — «Оратор, а не историк, не летописец, автор ... менее всего озабочен исторической достоверностью событий ...» — Ibid. 13 (podtrhl Jeremin).

soudružnost především ve *vnitřní* ucelenosti, kdežto zevně se skládá z celé soustavy obrazů, které jsou konkretními průhledy do skutečnosti, směřujícími k její podstatě.

Pokud běží o odbočování od základního vyprávění, je to přece, jak známo, postup, který se běžně pokládá za charakteristický rys především epiky (retardace).

Pokud běží o oslabení narrativního živlu, cítí sám Jeremin možnou námitku a dodává, že neběží jen o prvky lyrismu, ale že autor, kde je to jen možno, nahrazuje líčení monologem. Ale cožpak je málo monologů v jiných slovesných oblastech, na př. v lyrické poesii?

Pokud běží o nedbání historické hodnověrnosti, dosavadní práce a naposledy práce vyšlé v době jubilea, v letech 1950—1951, bezpečně prokázaly opak.[39]) Autor právě neobyčejně hodnověrně a přesně podává jak většinu fakt, tak četné reálie. Neběží samozřejmě o puntičkářskou přesnost historika, kronikáře, letopisce, ale o *vystižení a odrážení historické skutečnosti v její podstatě.* A v uměleckém díle je přece rozhodující toto směřování k podstatě věcí, vztahů a událostí, a nikoli dokonalost detailů, jejich naturalistická přesnost.

Ovšem Jeremin od obvyklého (t. j. neřečnického) vyprávění žádá příliš mnoho. Čte-li se v Slově, že „trouby troubí v Novgorodě, stojí korouhve v Putivli, Igor čeká milého bratra Vsevoloda", táže se Jeremin kde čeká, odkud čeká a proč čeká.[40]) A poněvadž autor nepředpokládal takovou otázku, vyvozuje Jeremin i z tohoto příkladu, že v Slově není obvyklé vyprávění, ale řečnická diegesis. — Kdyby Jeremin tímto způsobem sledoval na př. přepečlivého letopisce, dopadl by ho přirozeně také při podobných „nepřesnostech" a přesvědčil by se o neudržitelnosti tohoto svého důvodu.

Podobného rázu jsou důvody, o které Jeremin chce opřít svůj názor o řečnické povaze Slova v oblasti stylistiky.

Za rys epideiktického, oslavného řečnictví považuje především tvárný prostředek oslovení posluchačů nebo čtenářů, případně oslovení hrdinů, země a předmětů.[41]) Avšak oslovení posluchačů je běžným prostředkem hned v lidovém eposu, který se šířil od úst k ústům, přednesem. Z téhož důvodu užívá oslovení i ústně tradovaná povídka, pohádka. V písemnictví je takové oslovení častým zjevem v dílech básnických i prozaických, hojně se ho užívalo na př. ve výtvorech didaktického zabarvení. Oslovování čtenáře a rozprávění s ním se pak dosti rozšířilo v klasicismu a sentimentalismu, až je Jean Paul

---

[39]) Srov. zejména tři významné soubory prací: *Слово о полку Игореве*, ред. В. П. Адрианова-Перетц, Москва-Ленинград 1950, АН СССР (Литературные памятники); *Слово о полку Игореве*, сб. исслед. и статей, ред. В. П. Адрианова-Перетц, Москва-Ленинград 1950, АН СССР, Инст. русс. лит.; *Труды отдела древнерусской литературы VIII.*, ред. В. П. Адрианова-Перетц, Москва-Ленинград 1951, АН СССР, Инст. русс. лит. — srov. mé recense v Slavii 21 (1952) 67—82; 22 (1953) 484—491.

[40]) И. П. Ерёмин, Уч. зап. ЛГУ 13.

[41]) Ibid. 14.

svým žoviálním poučováním „milého čtenáře“ nadlouho znemožnil. Ale oslovení čtenáře je přirozeným prvkem slovesné tvorby a v současné době se ho s prospěchem užívá dále; na doklad toho budiž z ruské sovětské literatury uvedena aspoň Mladá garda Aleksandra Fadějeva. Oslovení hrdinů a předmětů zobrazených v díle je rovněž prostředek obecně literární a nemá v sobě nic specificky řečnického. Lyrická poesie, lidová i umělá píseň poskytují nesčetné doklady užívání tohoto druhu oslovení.

S užíváním oslovení souvisí samozřejmě užívání různého druhu přímé a polopřímé řeči. Tak se objevuje v Slově i „svérázný monolog v mezích lyricko-epického vyprávění“, jak to poněkud složitě Jeremin nazval.[42]) Ale i to je přece pouze prostředek podřízený celkovému ideově uměleckému záměru. Jsou případy, kdy celé dílo se skládá z takových monologů nebo z dialogů. Tento stylistický způsob se objevil už na př. ve filosofických dílech antického Řecka (Platon). Ale proto přece nebudeme taková díla pokládat za díla rétorická, za výtvory „uměleckého řečnictví“. Jsou případy, kdy celé dílo je napsáno na př. jako soubor dopisů (Voltaire, některé novodobé romány) nebo výpovědí (Čapkův Povětroň). Ale proto přece nebudeme taková díla pokládat za díla epistolární nebo za soudní protokol.

Jeremin považuje za rétorické dokonce i zvolání „ó!“. Ani to však není jen „jeden z nejtradičnějších postupů řečnického stylu“, jak myslí Jeremin,[43]) ale postup obecně literární, obvyklý zvláště v básnických druzích lyrických.

Za rétorický postup pokládá Jeremin také „přenášení událostí minulosti do přítomnosti“.[44]) Jeremin uvádí doklad tohoto postupu v Slově a dodává, že charakteristické pro ně je také používání sloves v présentu. Avšak celý tento tvárný postup (přenos minulého děje do přítomnosti vyjádřený présentním slovesným tvarem) není nic jiného než známé *praesens historicum*, což je rovněž postup obecně literární a dokonce způsob vyjadřování běžný i v písemnictví věcném a v hovorové řeči. — Jinak je třeba říci, že toto praesens historicum se hojně vyskytuje právě v eposu.

Za důkaz rétorické stylistiky Slova pokládá Jeremin konečně opakování, mluvě o „rétorickém opakování“.[45]) Neběží o to, jak štědře Jeremin razí a modifikuje termíny (zde o přívlastek „rétorické“). Je však možno se přesvědčit v běžných příručkách, že opakování je také postupem obecně literárním: Timofejev na př. uvádí opakování mezi figurami a podává jediný příklad opakování právě z poesie.[46]) Pravda, dosud se někdy traduje z názvosloví dávno překonaných teorií literatury označení „rétorické figury“ jako stylistické „okrasy“, ale takové chápání figur nemůže přece uspokojit, vezme-li se skutečně v úvahu slovesný materiál. — Má-li opakování skla-

---

42) Srov. zde pozn. 36.
43) «...один из наиболее традиционных приемов ораторского стиля.» — Ibid. 15.
44) «переноц событий прошлого в современность» — ibid. 15.
45) «реторические повторы» — ibid. 15.
46) Л. И. Тимофеев, *Теория литературы*. Основы науки о литературе. Москва 1948, Учпедгиз, 225; čes. vyd. 253.

debně určující význam pro některý slovesný rod nebo druh, pak touto oblastí, kde opakování je specifickou, nutnou složkou, není řečnictví.

Zvláštní poznámku věnuje Jeremin rytmu: domnívá se, že rytmus Slova, vznikající sledem vět téže syntaktické konstrukce a nesoucí s sebou i morfologický rým, je beze vší pochyby rétorického původu, že je to „specifický rytmus řečnické prózy".[47]) Jeremin má úplnou pravdu v tom, že pouhé syntaktické opakování projevující se rytmicky nedokazuje ještě veršovost. Ale na druhé straně zase toto konstatování nedokazuje ještě, že dílo náleží k řečnictví, a že běží o specifický rytmus řečnické prózy.

Konečně pokouší se Jeremin vysvětlit i autorovo označení píseň jako náležitost řečnictví. Říká, že *пѣснь* byl termín, kterým se označovaly pochvalné řeči, a to „zvláště v tom období, kdy řečnictví si už plně osvojilo nomenklaturu poetických žánrů".[48])

Je však otázka, dá-li se pro tu dobu mluvit (a to i v byzantské literatuře) o takové nomenklatuře, aby bylo možno se jí takto dovolávat. A pak: Jeremin zde mluví o tom, že řečnictví si osvojilo názvosloví básnických druhů. Naráží tak konečně na otázku, kterou snad bylo možno položit hned na počátku: je vůbec správné mluvit o protikladu řeči a písně, případně řeči a pověsti? Je možno (a do jaké míry) klást vedle sebe a proti sobě pojmy řeč — báseň — próza? V této pojmové oblasti především bylo by třeba zavést a zachovávat určitý pořádek. Pojmová dvojice báseň — próza vyjadřující dva základní způsoby organisace především jazykového materiálu (způsoby, které ovšem mají svůj kořen už v samé ideji díla a projevují se konec konců ve všech jeho složkách) nemůže být dost dobře rozšířena o pojem řeči. Řečnictví, pokud je známo, nevládne zvláštním třetím způsobem této organisace, způsobem, který by se specificky lišil od způsobu prozaického i poetického. Má tedy smysl klást řeč do zásadního protikladu s básní a s prózou?

Jeremin uzavírá svou první stať takto: „*»Slovo o pluku Igorově« není poema a není »vojenská« pověst. »Slovo o pluku Igorově« je řeč,* λόγος, *výtvor* orátorského *umění ve své podstatě, jediná dochovaná památka světského epideiktického řečnictví Kyjevské Rusi. Svou uměleckou strukturou, svou žánrovou úpravou se »Slovo o pluku Igorově« přiklání k jedné z nejmocnějších tradic ve světové literatuře. Nit, spojující »Slovo o pluku Igorově« s touto tradicí, vine se skrze věky, daleko do hloubky, k pramenům evropské civilisace, k antickému světu. Attické řečnictví »zlatého« věku řecké literatury, »aziánské« řečnictví hellenistické epochy, »druhá sofistika« a její svérázné obrození u křesťanských mistrů orátorské prózy, byzantské a staroruské epideiktické rečnictví, církevní i světské — takový je literární rodokmen »Slova o pluku Igorově«, půda, na které vzniklo.*"[49])

---

[47]) И. П. Ерёмин, Уч. зап. ЛГУ 16.

[48]) «...в особености в ту эпоху, когда номенклатура поэтических жанров была уже полностью усвоена красноречием...» — Ibid. 17.

[49]) «„Слово о полку Игореве" — не поэма и не „воинская" повесть. „Слово о полку Игореве" — речь, λόγος, произведение *ораторского* искусства по своей природе единственный дошедший до нас памятник светского эпидейктического красноречия Киевской Руси. По своей художественной структуре, по жанровому оформле-

Mluvit o staroruském světském epideiktickém řečnictví jako oblasti sui generis je ovšem příliš hypothetické, zvláště když sám Jeremin označuje Slovo za *jediný* dochovaný doklad tohoto řečnického typu na Rusi. Jak je možné dokazovat příslušnost nějakého výtvoru k určitému slovesnému typu, pro který není žádných jiných dokladů kromě tohoto výtvoru samého?

Uvedené vyznačení literárního rodokmene Slova připomíná poněkud onen komparatistický způsob, který je znám především letmou nahozeností a snadným spojováním jevů navzájem velmi vzdálených (Poetika sjužeta i žanra O. Frejdenbergové atd.). Pěstitelé tohoto způsobu dávali průchod přehnané fantasii hlavně v genetických liniích ideografických a thematických (sjužetových), Jeremin se omezuje na genetiku žánru. Ale načrtává její linii tak, že se také příliš snadno přenáší přes ohromné prostory mezi jednotlivými jevy: o attickém, sofistickém a helenistickém řečnictví hovoří až v závěrečné formulaci tak, jako by se jeho vztah v Slovu rozuměl sám sebou. Připomenutí některých překonaných literárněvědných směrů v této souvislosti nebudiž ovšem chápáno ve zlém. Rozhodně tím nemá být řečeno, že srovnávací postup do výzkumu dané problematiky nepatří. Naopak: srovnávací hledisko, na které Jeremin znovu upozornil, může být pro tento výzkum velmi prospěšné. Pokud běží o nutné úvahy literárně teoretické, je toto hledisko dokonce nepostradatelné. Bude však zřejmě třeba užívat ho promyšleněji, historicky přesněji a se stálou péčí o správnost metodologickou, již proto, že nedostatky starší komparatistiky tkvěly právě v oblasti obecné i speciální metodologie.

V druhé své stati, vydané r. 1950 a vzniklé tedy krátce po známé kritice školy Veselovského, Jeremin upouští od srovnávacích úvah, které v stati první měly důležité místo. (Není bez zajímavosti, že tuto svou první stať ani necituje.) Vynechává i řecký výraz λόγος i ostatní řeckou terminologii a omezuje se na materiál ruský, který rozhojňuje. Základní these, že Slovo je památka řečnická, zůstává nezměněna. Hned v názvu překvapuje však Jeremin tím, že označuje Slovo za památku řečnictví politického,[50]) ne tedy již řečnictví epideiktického, jak dovozoval v stati první.

Tato změna je ovšem velmi důležitá. Souvisí s Jereminovou snahou vycházet v podaném rozboru Slova co nejzřetelněji z jeho historického smyslu a významu, z toho, že Slovo bylo výzvou k sjednocení Rusi proti poloveckým vpádům. Tím přirozeně získává na ceně rozbor, který přináší řadu

нию „Слово о полку Игореве“ примыкает к традиции, одной из самых мощных в мировой литературе. Нить, связывающая „Слово о полку Игореве“ с этой традицией, вьется через века, далеко вглубь, к истокам европейской цивилизации, к античному миру. Аттическое красноречие „золотого“ века греческой литературы, „азианское“ красноречие эллинистической эпохи, „вторая софистика“ и ее своеобразное возрождение у христианских мастеров ораторской прозы, византийское и древнерусское эпидейктическое красноречие, церковное и светское — такова литературная родословная „Слова о полку Игореве“, почва, на которой оно возникло.» — Ibid. 18 (podtrhl Jeremin).

[50]) И. П. Ерёмин, сб. исслед., 93 et pass. (srov. zde pozn. 13).

užitečných jednotlivých postřehů. Avšak základní these Jereminova tím rozhodně nezískává na přesvědčivosti: 1. je vidět, že Jeremin váhá v tom, jak vymezit oblast řečnictví, ke které Slovo počítá; 2. je otázka, zda řečnictví politické patří do umělecké literatury a zda by tam pak patřilo Slovo; 3. ukazuje se, že oblast řečnictví je dosud málo vědecky klasifikována.

Pokud běží o klasifikaci řečnictví i o zařazení Slova v rámci této klasifikace, nejsou Jereminovy představy a názory jednotné. V druhé své stati hovoří o dvou *rodech* řečnictví, o *řečnictví slavnostním, uměleckém* a o *řečnictví didaktickém, učitelském.*[51]) Nehledě k tomu, že pojmu rodu je zde užito nově a zřejmě v posunutém významu, který není vysvětlen, ani odůvodněn, chybí nutná poznámka o tom, ke kterému z obou „rodů" se má počítat *řečnictví politické,* a patří-li tento typ k řečnictví uměleckému, proč k němu nepatří také řečnictví didaktické. Pojem a představa *uměleckosti* zde dělá samozřejmě obtíže jako vždy ve starších vývojových obdobích.

V téže souvislosti Jeremin vysvětluje, že „»slavnostní« řečnictví je podmíněný termín, kterým se označují památky řečnictví uměleckého, obyčejně určené k nějakému svátku nebo slavnosti, velmi často — dokonce i v řečnictví církevním — společensko-politické problematice".[52]) Tento typ snad má znamenat tolik co řečnictví epideiktické v první Jereminově stati. Mohlo by se tedy mluvit o řečnictví příležitostném. Jisto však je, že Slovo má nesrovnatelně větší cenu a životaschopnost než většina výtvorů typu příležitostného.

Na tomto místě je také rozmnožena klasifikace o *řečnictví církevní.* Jak se zdá z kontextu, má to být kategorie jiného rázu než řečnictví umělecké a didaktické a jeho projevy mohou být počítány k některému z obou z těchto typů.

Samo Slovo spojuje Jeremin na různých místech s představami řečnictví slavnostního, uměleckého, epideiktického i politického.

Pro řečnictví obecně je tu tedy poměrně hodně specifikací a pro Slovo zvláště je tu poměrně hodně možností, vzpomeneme-li, že Jeremin označil v první své stati Slovo za jedinou dochovanou světskou památku řečnickou sui generis. Bylo by třeba, aby se pojmosloví rétoriky řádně propracovalo, má-li být vědě co platné.

Jinak hned úvod druhé stati Jereminovy ukazuje, jakou důvěru si její pisatel zachovává ve své důvody, jejichž vratkost už zde byla vyzkoušena. Nepochybuje o ničem, co podle jeho mínění podporuje jeho koncepci a nepochybuje ani tehdy, když jeho vlastní materiál přímo volá po opatrnosti. Tak termín *песнь* ztotožňuje pro slavnostní řečnictví s pojmy *хвала, похвала, слава,* které prý byly jeho přeneseným smyslem, a tvrdí prostě, že

---

[51]) Ibid. 93—94.

[52]) «„Торжественное" красноречие — условный термин, которым обозначаются памятники красноречия художественного, обычно приуроченные к какому-либо празднику или торжеству, очень часто специально посвященные — даже в красноречии церковном — общественно-политической проблематике.» — Ibid. 93 (pod čarou).

autor Slova užíval slov *песнь* a *пети* právě v tomto smyslu, ačkoli na témže místě pod čarou objektivně poznamenává, že i sám autor Slova, mluvě o Bojanovi, užívá souvisícího termínu *песнотворец* nikoli ve významu „orátor", ale ve významu „skladatel písní k oslavě knížat".[53])

Hned z úvodních tří stránek této druhé stati Jeremin pokládá za možné vyvodit, že „vše, co už bylo řečeno, dává nám plné právo chápat »Slovo o pluku Igorově« tak, jak je chápal sám autor, t. j. jako »slovo«, jako památku světského uměleckého řečnictví Kyjevské Rusi". Toto právo si přeje v dalším výkladu podrobit důkladné „prověrce".[54]) Ovšem tato „prověrka" se skládá zase z důvodů uvedených už v první stati, třebaže materiálově je o hodně bohatší. Bylo by možno uvést z onoho dalšího výkladu řadu plodných upozornění. Bylo by stejně možno uvést z onoho dalšího výkladu řadu míst, která ilustrují vratkost důvodů už probraných, jako onen výklad sám ilustruje předem danou thesi Jereminovu, aniž by ji dostatečně dokazoval. To však není úkolem tohoto článku. K tomu, co již bylo uvedeno, stačí zde dodat, že Jeremin podléhá průběžně hlavně jednomu omylu: rysy, které svědčí o *uměleckosti* Slova, považuje šmahem za důkaz jeho *rétoričnosti*, jeho příslušnosti k řečnictví. Místy z toho přechází ještě do druhého omylu: za důkaz rétoričnosti Slova považuje ty rysy, které ukazují výslovně k některým nerétorickým slovesným rodům a druhům.

Důležitá je ta část výkladu, kde Jeremin naráží na to, že „v orátorské próze Kyjevské Rusi řeči tohoto uměle vytvořeného »literárního« původu zdomácněly zvláště pevně a dokonce nabyly významu rétorického postupu".[55]) Jeremin má na mysli části Slova napsané přímou řečí a srovnává je s podobnou „literární" přímou řečí v „slovech" Kirilla Turovského.[56]) Umělost, neřečnickost takových vložených řečí je vůčihledná: běží přece o obecně literární postup. Ale proto také není příliš oprávněné pokládat užití tohoto postupu za důkaz rétorického rázu výtvoru. S tím však souvisí širší otázka: možná knižnost, neřečnickost celého výtvoru. Je ostatně tak jisté, že na př. „slova" Kirilla Turovského a jiná podobná díla byly výtvory specificky řečnické, vykazující specifické, podstatné, zásadní rozdíly ve srovnání s ostatními, neřečnickými výtvory?

Tyto pochyby ještě zvyšuje závěr Jereminovy druhé stati, kde se praví:

„. . . »Slovo o pluku Igorově« nepochybně nikdy a nikým nebylo předneseno jako ústní improvisace, a v tom je zásadní odlišnost »Slova« od těch řečí, které si svého času vyměňovala knížata nebo jejich družiníci a které, jak lze předpokládat, poměrně přesně reprodukují letopisci. Řeč takové literární dokonalosti jako »Slovo o pluku Igorově« mohla

---

[53]) Ibid. 94.

[54]) «Все сказанное уже дает нам полное право рассмартивать „Слово о полку Игореве" так, как рассматривал его сам автор, т. е. как „слово", как памятник светского художественного красноречия Киевской Руси.» — Ibid. 95 (podtrhl Jeremin).

[55]) «В ораторской прозе Киевской Руси речи этого сочиненного, „литературного" происхождения утвердились в особенности прочно и даже приобрели значение риторического приема . . .» — Ibid. 109.

[56]) Ibid. 110.

být jenom *napsána*. V literatuře Kyjevské Rusi slavnostní řečnictví je oblastí *literární* tvorby v nemenší míře než letopisectví a hagiografie. Jsou všechny předpoklady domnívat se, že dokonce dochované výtvory církevního řečnictví této epochy byly určeny ne tak k přednesení v kostele jako nějaké kázání, jako speciálně k četbě — dokonce »slova« Kirilla Turovského; fakt, že se stala součástí »Zlatoústu« a »Toržestvenniku« mluví o tom, že i ona byla ve své době chápána jako materiál především ke čtení, a v daném případě dokonce »ustavového«, t. j. reglementovaného církví.“[57])

Máme tedy co činit se svého druhu jakoby řečnictvím nebo pseudořečnictvím, s řečnicky se tvářícími nebo více či méně řečnictví připomínajícími literárními výtvory. Čím se pak vlastně tyto výtvory liší tak *zásadně*, tak *podstatně* od ostatních výtvorů umělecké slovesnosti, aby musila být bojovně uváděna do zásadního protikladu k nim? Snad tím, že tak či onak mohou připomínat skutečné řeči? Nebo tím, že některá z nich je připomínají svým názvem?

Na řečnické, rétorické prvky v Slově ukazovalo se ovšem už před Jereminem. V novější době pracovali v tom směru zvláště A. S. Orlov a N. K. Gudzij.[58]) Ale i oni vycházeli již ze starého vědeckého odkazu, který hned záhy po objevení Slova založil Josef Dobrovský se svou školou (srov. zde pozn. 1). Zde neběželo o to podat historický přehled názorů, které více nebo méně spojovaly Slovo s rétorikou. Neběželo zde ani speciálně o Jeremina. Jeho práce však si vyžádaly zvláštní pozornosti proto, že Jeremin z jednotlivých postřehů o řečnických prvcích v Slově a o jeho spojitosti s jinými „slovy“ udělal soustavu, vytvořil z nich koncepci o Slově jako řečnickém díle. Tuto koncepci nelze při další práci o umělecké výstavbě Slova obejít jednak pro její vyhrocenost, jednak proto, že zasahuje do celé řady teoretických a metodických otázek.

Jeremin vyvinul cenné teoretické úsilí. Je však otázka, do jaké míry to bylo úsilí plodné. Jeremin mluví o technických termínech, o řečnické a básnické terminologii a nomenklatuře jako o věcech trvalých a neměnných. Představuje si, že je možné měřit každé dílo podle předem daných kategorií, a přenáší formové kategorie libovolně z literatury jedné do literatury druhé. Tak klade rovnítko mezi řeckým λόγος a strus. *слово,* aniž bere v úvahu zvláštní, svérázný vývoj na Rusi. Pravda však je, že všechny takové kate-

---

[57]) «...„Слово о полку Игореве“, несомненно, никогда и никем не было произнесено в порядке устной импровизации, и в этом коренное отличие „Слова“ от тех речей, которыми в свое время обменялись князья или их дружинники и которые, надо полагать, относительно точно воспроизводились летописцами. Речь такого литературного совершенства, как „Слово о полку Игореве“, могла быть только *написана*. В литературе Киевской Руси торжественное красноречие — область *литературного* творчества в неменшей степени, чем летописание или агиография. Есть все основания думать, что даже дошедшие до нас произведения церковного красноречия этой эпохи предназначались не только для произнесения в церкви в качестве очередной проповеди, сколько специально для чтения — даже „слова“ Кирилла Туровского; тот факт, что они вошли в состав „Златоуста“ и „Торжественника“, говорит о том, что и они в свое время рассматривались как материал прежде всего для чтения, в данном случае даже „уставного“, т. е. регламентированного церковью». — Ibid. 129 (podtrhl Jeremin).

gorie, formové kategorie zejména, jsou historicky podmíněné, nevyvíjejí se a nepřenášejí se immanentně. Vnášet anachronicky do staroruského materiálu kategorie dnešní či kategorie byzantské a řecké, je nehistorické. Proto také nelze vyvozovat rodokmen Slova nebo jiného výtvoru mechanicky z přejímání řeckobyzantských či jiných tradic. Tyto tradice přirozeně měly určitou úlohu, stejně jako ve větší ještě míře rozvité už tradice církevněslovanské. Avšak především tu byla daleko silnější tradice domácí, tradice živé ústní slovesnosti lidové. Ona více než co jiného musila určovat vkus společnosti, její formové vědomí. Ona určovala i míru, kterou autor Slova čerpal také z tradic jiných.

V sledování přenášení vnějších rysů, zvláště formových, v představě, jako by národní i mezinárodní literární vývoj postupoval immanentně, tkvěl právě formalismus staré, metodologicky zmatené komparatistiky. S tohoto hlediska bylo by také úsilí autora Slova anulováno jako tvůrčí čin, který vytváří nové hodnoty a k tomuto cíli přepracovává působící tradice především se stanoviska ideje díla.

Nemá proto smyslu snažit se o důkaz, jako by Slovo odpovídalo nějaké normě, jako by ji naplňovalo, jako by bylo možno vsadit je do některé hotové formy, ať už by to bylo „*слово*“, „λόγος“, „*пѣснь*“ nebo „*повесть*“. Takové hotové formy neexistují a neexistovaly zejména v počátečním vývoji národní literatury. Slovesné rody, druhy, způsoby, tvárné postupy a prostředky nebyly neslučitelně roztříděné, neustále se měnily a vyvíjely. Autor měl bezpočet možností, a proto bádání musí brát tyto možnosti stále v úvahu se zřetelem k smyslu výtvoru. A zejména by se nemělo již podléhat mylné naději, že na př. žánrovou příslušnost Slova bude možno vyvodit zevně, zjistit ji prostým srovnáním s jednotlivými rody a druhy. Také by se nemělo již podléhat představě, že otázku příslušnosti Slova k některému slovesnému druhu bude možno s úspěchem sledovat odděleně od celého komplexu otázek dalších.

Koncepce o řečnické povaze Slova, jak je vidět, neobstojí. Přesto nové upozornění na to, že některými svými rysy je Slovo blízké také řečnictví, je cenné. Bude ovšem třeba daleko důkladněji obecně propracovat samu rétoriku a zvláště poměr řečnictví k literatuře, a to s ohledem na ruský a vůbec slovanský materiál.

Jednou z nejtěžších překážek nejen pro bádání o umělecké výstavbě Slova o pluku Igorově, ale pro bádání rusistické a slavistické vůbec je to, že se nedostává teorie literatury na konkretně historickém základě, teorie, která by se opírala především o slovanský materiál nový, starší i nejstarší a která by proti dosavadnímu zvyku slepě nenásledovala teoretická pojetí, založená původně pouze na materiálu neslovanském. Tento nedostatek je zvláště citelný při bádání v nejstarším slovesném období u Slovanů.

Slavomír Wollman (Praha)

---

58) А. С. Орлов, *Слово о полку Игореве*, 1. изд., Москва 1938, pass.; Н. К. Гудзий, *История древней русской литературы*. Москва 1938, Учпедгиз, 153.

ZPRÁVY

Mezinárodní konference slavistů v Bělehradě

Ve dnech 15.—21. IX. 1955 konala se v Bělehradě konference slavistů, která položila základy k široké mezinárodní spolupráci v slavistice. Byla svolána z iniciativy Srbské akademie věd a slavistických kateder všech jihoslovanských universit (Beograd, Zagreb, Ljubljana, Skopje, Sarajevo, Novi Sad) a byl to po válce první sjezd slavistů v širším měřítku. Zúčastnili se jí delegáti celkem z 18 zemí, ze 17 evropských a ze Spojených států amerických. Předsedou organisačního výboru sjezdu i sjezdu samého byl Al. Belić, předseda Srbské akademie věd, místopředsedy Ant. Barac ze Záhřeba, Ant. Slodnjak z Lublaně a Blaže Koneski ze Skopje, generálním sekretářem sjezdu byl Kiril Taranovski z Bělehradu.

Ze slovanských zemí přijeli na sjezd zástupci ze Sovětského svazu, z Polska, z Bulharska a z Československa. Delegaci sovětskou, která se setkávala s vřelými sympatiemi, vedl V. V. Vinogradov a byli v ní P. N. Treťjakov, V. I. Borkovskij, M. S. Mjasnikov, J. S. Maslov a M. P. Aleksejev. Delegaci polskou vedl Tad. Lehr-Spławiński a jejími členy byli Witold Doroszewski, Zdzisław Stieber, Antonina Obrębska-Jabłońska, Henryk Wolpe, Tad. Mikulski, Jerzy Ziomek a Marian Jakóbiec. Bulharskou delegaci vedl Vl. Georgiev a tvořili ji ještě Ivan Lekov, L. Andrejčin a P. Dinekov. Delegaci československou vedl Boh. Havránek a byli v ní Andrej Mráz, Frank Wollman, Julius Dolanský, Vincenc Blanár, Karel Horálek a Josef Kurz. Z neslovanských zemí byli přítomni zástupci Maďarska (L. Hadrovics a P. Király), Rumunska (E. Petrovici), z Rakouska R. Jagoditsch, z Dánska C. Stief, z Finska Eino Nieminen a Val. Kiparsky, z Francie A. Mazon a A. Vaillant a další delegáti, z Italie G. Maver a další delegát, z Německa prof. P. Diels, E. Koschmieder a další delegáti, ze Švýcarska E. Dickenmann, z Holandska C. H. van Schooneveld a další dva delegáti, ze Švédska Gunnar Gunnarrson, z Velké Britannie E. Hillová, W. K. Mathews, B. Unbegaun a j., Spojené státy americké zastupovali R. Jakobson, W. Lednicki a H. Lunt.

Bělehradská konference navázala na dva první mezinárodní sjezdy slavistů (pražský z roku 1929 a varšavský z r. 1934) i na přípravy k 3. sjezdu, který se měl konat v roce 1939 v Bělehradě. (Kromě těchto sjezdů se po válce konaly jen užší konference představitelů slavistiky v Leningradě v r. 1946, v Berlíně r. 1954 a v Římě r. 1955.) Svolavatelé bělehradské konference vytkli konferenci především cíle organisační: opět navázat styky mezi slavisty, poskytnout delegátům všestranné informace o práci v slavistice od r. 1945 a vytvořit předpoklady pro svolání velkého slavistického kongresu.

Vnější průběh konference. Konference byla zahájena 15. IX. v Srbské akademii věd Al. Belićem, který pozdravil přítomné delegáty a v své řeči (byla rozdána účastníkům konference také tištěna) připomněl, že se konference koná za vyhlídek na trvalý mír a že znamená počátek nové epochy ve vzájemných kulturních stycích mezi slovanskými i neslovanskými národy. „Izgledi za trajan mir povoljniji su nego ikada dosada i izmirenje slovenskih rukovodnih krugova na osnovu uzajamnog razumevanja i poštovanja — danas je stvarnost kojoj se od sveg srca raduju svi slo-

venski narodi. Sve će to zajedno značiti nesumnjivo početak nove epohe uzajamnih kulturnih veza medju slovenskim narodima, a sa tim svakako i novi polet naše nauke.“ Potom vytkl řadu organisačních úkolů, které má konference před sebou. Zdůraznil, že pro slovanské národy je slavistika v jistém smyslu i národní vědou a že její studium je stejně významné jako studium mateřského jazyka a literatury. Končil nadějí, že se práce konference ponesou v jednom duchu, v duchu slavistiky, který nezná ani hranic územních ani národnostních, ale jen práci a úspěch v oblasti slavistiky. „Samo ćemo tako, za vreme ovih dana slavističkih večanja u Beogradu, moći postići znatnih rezultata ako u svima slučajevima budemo oduševljavani ovom zajednicom interesa slavističke nauke kod slavista svih zemalja. Neka zato živi taj slavistički duh kod svih slavista i neka rukovodi svima njima u svim poslovima.“

Potom byl přečten telegram presidenta Tita, který poslal konferenci pozdravy a přání úspěšné práce.

Potom přednesli zástupci jednotlivých delegací pozdravy. Jménem sovětské delegace V. V. Vinogradov zdůraznil slavnou ruskou tradici práce v slavistice a vzpomněl vědecké spolupráce ruských vědců s jihoslovanskými. Za francouzské delegáty pozdravili sjezd A. Vaillant a A. Mazon. Jménem polské delegace promluvil Tad. Lehr-Spławiński. Jménem anglických universit pronesla pozdrav prof. E. Hillová. Vedoucí československé delegace akad. B. Havránek zdůraznil v svém projevu přátelství mezi lidem Jugoslavie a Československa i stále živé vztahy mezi slavisty obou států a vytkl potřebu pracovat v slavistice nejen theoreticky, nýbrž i v praxi. Jménem amerických slavistů přednesli pozdravy W. Lednicki a Roman Jakobson. Jménem bulharských slavistů vřele promluvil Vl. Georgiev. Za německé slavisty pronesl pozdrav P. Diels, za italské G. Maver, za maďarské pozdravil sjezd L. Hadrovics, za finské E. Nieminen. Poté se ustavil sjezdový pracovní komitét ze zástupců jednotlivých delegací. Večer se konala slavnostní recepce u místopředsedy federální vlády Rod. Čolakoviće.

Druhého dne, 16. IX., dopoledne se konala plenární schůze, věnovaná organisačním otázkám, odpoledne pak navštívili delegáti hrob neznámého vojína na Avale.

Třetí a *čtvrtý den*, 17. a 18. IX., konaly se schůze sekcí (jazykovědné a literárněvědné) i plena, kde se podávaly informativní zprávy o stavu a výsledcích slavistické práce v jednotlivých zemích a slavistických střediscích. V sobotu večer se zúčastnili delegáti představení hry Marina Držiće *Dundo Maroje* v Dramatickém divadle (Dramsko pozorište).

Pátého dne, 19. IX., byl výlet do Nového Sadu, Stražilova a do Sremských Karlovců. V Novém Sadě si delegáti prohlédli filosofickou fakultu a Matici Srbskou, v Stražilově navštívili hrob básníka Branka Radičeviće a obdivovali se krásným národním tancům a písním, na zpáteční cestě si prohlédli museum v Sremských Karlovcích.

Šestého a *sedmého dne*, 20. a 21. IX., pokračovalo se v referátech v sekcích. V úterý 20. IX. večer byla recepce v Srbské akademii věd.

Konference byla zakončena 21. září odpoledne jednohlasným přijetím organisačních úkolů (vytvořením Mezinárodního slavistického komitétu, organisací slavistické bibliografie, ujednáním o výměně publikací a o vzájemných návštěvách starších i mladších vědeckých pracovníků, srov. dále). Poté pronesl předseda Al. Belić závěrečnou řeč, v níž konstatoval význam a úspěch konference a krásnou atmosféru, za níž se konala, a zároveň poděkoval všem delegátům za spolupráci a lidové vládě Jugoslavie za to, že umožnila konání sjezdu. Potom pronesli své díky zástupci delegací V. V. Vinogradov a A. Mazon. Večer uspořádal recepci předseda národního výboru bělehradského Miloš Minić.

Organisační výsledky konference:

a) Byl vytvořen *mezinárodní komitét slavistů,* který vezme na sebe veškerou péči o svolání mezinárodního slavistického sjezdu v blízké budoucnosti. Do komitétu byli jednohlasně zvoleni tito zástupci: za SSSR V. V. Vinogradov a jeho zástupcem V. I. Borkovskij; za Polsko Tad. Lehr-Spławiński, zástupcem W. Doroszewski; za Československo B. Havránek, zástupcem J. Dolanský; za Bulharsko Vl. Georgiev, zástupcem P. Dinekov; za Jugoslavii Al. Belić, zástupcem Antun Barac; za Francii A. Mazon, zástupcem A. Vaillant; za Velkou Britanii E. Hillová, zástupcem V. K. Matthews; za Spojené státy americké členem R. Jakobson, zástupcem W. Lednicki; za skandinávské země Ad. Stender-Petersen z Dánska, zástupcem Gunnar Gunnarrson ze Švédska; z Německa členem Max Vasmer, zástupcem R. Jagoditsch z Rakouska; z Italie členem Giovanni Maver, zástupcem Ettore Lo Gatto; z Rumunska Emil Petrovici a zástupcem I. Kniesza z Maďarska.

Dne 21. IX. 1955 konal mezinárodní komitét již svou první schůzi. Na ní bylo stanoveno, že se budoucí slavistický kongres bude konat v Moskvě, a to v roce 1958; tím se předsedou komitétu stal V. V. *Vinogradov,* který bude řídit přípravy na sjezd a má být předsedou sjezdu. Předseda komitétu vytvoří svůj sekretariát se sídlem v Moskvě. Program příštího kongresu slavistů bude stanoven na příští schůzi Mezinárodního komitétu slavistů, která se bude konat v r. 1956 v Praze nebo v Moskvě. Jménem sovětské delegace navrhl V. V. Vinogradov tyto thematické okruhy jako podklad dalšího jednání: z *literární vědy* 1. základní etapy vývoje realismu v slovanských literaturách, 2. vzájemné vztahy a vlivy slovanských literatur i vztahy k literaturám neslovanským, 3. epos u slovanských národů; z *jazykovědy* 1. základní otázky vzniku a vývoje slovanských spisovných jazyků, 2. základní problémy srovnávací historické mluvnice a lexikologie slovanských jazyků, 3. úkoly historické dialektologie slovanských jazyků a nářečních atlasů, 4. původ slovanských jazyků a národů.

b) Bylo dále učiněno *usnesení o vydávání bibliografie slovanské jazykovědy a literární vědy.*

V Krakově bude zorganisováno vydávání linguistické bibliografické ročenky, a to pro všechny země, v kterých se pěstuje slovanská jazykověda. Tento úkol bere na sebe redakce časopisu Rocznik Slawisticzny a každá země bude míti svého referenta, který bude materiál sebraný z oblasti slovanské jazykovědy včas dodávati uvedené redakci (za ČSR byl jím zvolen Jos. Kurz). V slovanských zemích vezmou odpovědnost za přípravu a dodávání materiálu akademie věd nebo university, v ostatních zemích budou za práci odpovídati sami referenti. Vydávání bibliografické ročenky a vydání s tím spojená vzala by na sebe redakce časopisu Rocznik Slawistyczny; výdaje spojené se sbíráním a seskupováním materiálu budou nésti akademie nebo university jednotlivých zemí, které přijmou odpovědnost za sestavování bibliografie.

Bylo dále usneseno, aby se v každé slovanské zemi zpracovávala a pravidelně vydávala také bibliografie všeho, co se týče studia slovanských literatur. Péči o to by na sebe vzaly akademie nebo university příslušných zemí. O shrnování prací, které vyjdou v neslovanských zemích, bude pečovati středisko, které bude založeno při universitě v Leydenu. To vytvoří síť referentů z neslovanských zemí a za účelem koordinace práce bude ve spojení s bibliografickými středisky v zemích slovanských (s akademiemi, s universitami).

c) Bylo usneseno, aby se při akademiích nebo při universitách vytvořily *zvláštní komise pro výměnu publikací a doplňování nedostatků a mezer vzniklých za předchozích let.* Tyto komise musí mít své zvláštní finanční prostředky.

d) Bylo usneseno požádati vlády jednotlivých států, aby cestou kulturních konvencí nebo jakýmkoli způsobem umožnily *systematickou výměnu starších i mladších vědeckých pracovníků na základě reciprocity*, a to tak, aby vydání spojená s pobytem některého vědeckého pracovníka z jedné země v druhé zemi nesly vědecké organisace toho státu, v kterém je vědecký pracovník hostem. Odůvodněné návrhy na takovou výměnu pracovníků budou podávati vědecké instituce jednotlivých zemí (akademie nebo university).

Veškerá tato usnesení byla plenem konference jednohlasně přijata.

Sjezdové referáty:

Konference se omezila na práci ve dvou hlavních odvětvích slavistické práce, v jazykovědě a v literární vědě. Z obou těchto odvětví byly předneseny jednak referáty hodnotící stav a výsledky práce vykonané v rozličných státech a střediscích, jednak přednášky o dílčích otázkách ze slovanské jazykovědy a z vědy o slovanských literaturách. Pokud se informativní referáty týkaly jazyka i literatury, konaly se v plenu, jinak byly předneseny v příslušných sekcích. Pro množství přihlášených referentů byla práce v jazykovědné sekci ke konci konference rozdělena ještě na subsekce. Jednání v plenu a v sekcích předsedali hlavní představitelé slavistického studia; z československých účastníků předsedal B. Havránek jednání v plenu 18. IX. dopoledne, v sekcích řídili jednání Frank Wollman a Andrej Mráz.

V plenu byly předneseny tyto informativní referáty. A. Vaillant pojednal o slavistických studiích ve Francii v posledních desíti letech. — Wacław Lednicki promluvil o organisaci slavistických studií ve Spojených státech amerických. Z referátů amerických delegátů — zvláště též R. Jakobsona — se účastníci sjezdu dozvěděli, že v Americe byl připraven slovník k *Slovu o pluku Igorově* a k *Zádonštině*, že se tam vydává ruský *Razgovornik* z r. 1604 a že se přistoupilo k podrobnému popsání zvukové a gramatické soustavy současného ruského jazyka ve třiceti svazcích. Zajímavá byla i zpráva o metodě, která umožňuje zjistit původní text na palimpsestech. — E. Hillová z university v Cambridgi v Anglii vyložila, kolik nových slavistických středisek vzniklo na vysokých školách ve Velké Britanii a jak je tam organisováno zejména studium ruštiny a ruské literatury. — Pracovník maďarské akademie věd Petr Király pojednal o vývoji slavistických studií za posledních 10 let v Maďarsku. O slavistice v Rakousku promluvil R. Jagoditsch, v Italii G. Maver, v Německu Alois Schmaus, v Rumunsku Em. Petrovici. — O potřebě výměny pracovníků francouzských se slavisty ze zemí slovanských promluvil R. Triomphe. — P. N. Tret'jakov podal zprávu o práci Institutu slavjanovedenija AN SSSR.

V sekci jazykovědné byl především přednesen kolektivní referát slavistů všech jugoslávských universit o studiu slovanských jazyků v Jugoslavii. Přednesl jej M. Hraste v podobě podrobného, snad až příliš bibliografického přehledu, který ukázal na množství nových prací a na rostoucí zájem o studium jak jihoslovanských, tak i ostatních slovanských jazyků v Jugoslavii. — O práci českých a slovenských linguistů s hlediska její organisace, thematiky i metodologie promluvil B. Havránek a Jos. Kurz doplnil jeho referát výkladem o slovníku staroslověnského jazyka, který připravuje Slovanský ústav, a o problematice s ním spojené. — Tad. Lehr-Spławiński popsal ráz a směr dnešní slavistické práce polské; jeho výklad doplnil Z. Stieber referátem o velmi rozvinuté polské práci dialektologické. — Velikou práci sovětských slavistů v podrobném referátu charakterisoval V. V. Vinogradov. Sovětská delegace měla připraveny své referáty již v tištěných brožurkách (V. V. Vinogradov, *Изучение русского литературного языка за последнее десятилетие в СССР*, 91 str.; V. I. Borkovskij, *Разработка*

советскими учеными вопросов исторической грамматики и диалектологии восточнославянских языков (в послевоенные годы), 62 str.; J. S. Maslov, *Изучение южных и западных славянских языков в СССР за последние десять лет*, 24 str.; podobně byly připraveny i referáty o sovětských pracích literárněvědných, viz dále), takže k nim bylo možno odkázat pro speciální otázky a pro jednotlivosti; k názornému poučení o nových sovětských pracích velmi přispěla také výstavka sovětských publikací. — O bulharských pracích jazykovědných důkladně referovali L. Andrejčin a I. Lekov. — Delegáti ze všech slovanských i neslovanských zemí, na sjezdu přítomní, snesli veliké množství materiálu k poznání, jak je slavistika v jejich zemích pěstována. Rozvinul se bohatý obraz prací hotových i dlouhodobě připravovaných, obraz výzkumů i organisace práce, její metodologie a pod.

V druhé skupině referátů, čerpajících látku z nejrůznější problematiky slovanské jazykovědy, bylo předneseno 20 referátů. Al. Belić pojednal o slovesech s dvojím videm v slovanských jazycích; W. K. Matthews se zabýval otázkou stbulh. souhláskových skupin *št/žd*; Val. Kiparsky promluvil o stabilisaci slovanského akcentu; Eino Nieminen probíral otázku možnosti praslov. výpůjček ve finštině; L. Hadrovics zkoumal problémy maďarských elementů v srch.; Vl. Georgiev zkoumal, kterak se koncepce ide. gutturál projevuje v etymologii slovanských slov; W. Doroszewski pojednal o dialektologii a historickosrovnávací metodě v jazykovědě; Viktor Novak přednášel o morfologických změnách slovanských písem v zoně slovanskolatinské symbiosy; Georges Luciani podal několik poznámek k anketě Letopisu Matice Srpske o literárním jazyce srch.; Đ. Sp. Radojčić promluvil o osudech starých srbských listin a rukopisných knih za druhé světové války; Tad. Lehr-Spławiński přednesl zajímavé úvahy o jazykových vztazích keltskopraslovanských; B. Havránek promluvil o zásadních otázkách studia vývoje spisovných jazyků slovanských v souvislosti s vývojem národní společnosti; Jos. Hamm zkoumal praslovanské *ě* v jazycích západoslov. a jihoslov.; Iv. Lekov podal pozorování o odchylkách od flexivní stavby v slovanských jazycích; K. Horálek pojednal o potřebě srovnávací slovanské lexikologie; Sreten Živković hovořil o slovesném vidu; Ljudevit Jonke o ideologických základech filologické školy záhřebské v 19. stol.; Blaže Koneski podal poznámky k jazyku slovanských apoštolů t. zv. nejstarší redakce; Vinc. Blanár promluvil o lexikologické a gramatické problematice vlastních jmen.

Všechny sjezdové referáty budou brzy vydány tiskem a teprve potom budeme je moci blíže poznati a ev. zaujmout k nim stanovisko. Na konferenci samé nebylo možno přednášky posledního dne v úplnosti vyslechnouti (pro jejich rozdělení do dvou pododdělení), většinou také nebyly these referátů a pro nedostatek času odpadla bohužel diskuse. Nicméně dosáhly přednášky jazykovědné sekce svého poslání; pokud jde o přednášky na individuální themata, ukázaly aspoň mnohotvárnost themat, která jsou v současné slovanské jazykovědě předmětem pozornosti, třebaže chyběla vzájemná výměna názorů.

Ve srovnání s množstvím linguistických přednášek a referátů byla *literární část* programu na bělehradské konferenci značně chudší. Účastníci konference měli zato tu výhodu, že mohli vyslechnout všechny přednesené referáty o literatuře.

Také literární thematika tu tvořila dva cykly. Do prvního patřily informace o tom, co bylo vykonáno ve studiu slovanských literatur za posledních deset let. V druhé části byly podány ukázky literárněvědných studií na nejrůznější náměty. Zaznamenáme je v pořadí, jak za sebou následovaly.

Nejobsáhlejší informace o stavu a rozvoji literární vědy ve své zemi přinesla delegace polská. Jerzy Ziomek vylíčil skvělé úspěchy, kterých bylo dosaženo ve studiu

staré polské literatury až do 18. století; zvl. přesvědčivě vynikl nový obraz polské renesance. Tad. Mikulski připojil výklady o polském osvícenství 18. věku. Rozumí se, že v jubilejním roce Adama Mickiewicze zaujaly zprávy, jak se rozvíjí v Polsku studium mickiewiczovské. H. Wolpe informoval o přípravách výročí; J. Kott ukázal, jak polská literární věda přehodnotila od základů Mickiewiczovo dílo; zatím co buržoasní historiografie v něm zdůrazňovala idealistické a mystické prvky, jeví se dnes Mickiewicz jako revolucionář v životě i umění. J. Kott rozvinul i další pokrokové tradice v novějším polském písemnictví, zejm. v realismu Sienkiewiczově, El. Orzeszkové a j. O úspěších polské literární slavistiky promluvil M. Jakóbiec; podrobněji se zastavil u nových polských studií z oblasti literárních styků polsko-ruských, kde se těší největší pozornosti doba Mickiewiczova pobytu v Rusku, ale polská literární slavistika nezanedbala ani zkoumání vztahu polské literatury k ostatním Slovanům, k Čechům a Slovákům, k Jugoslavii, Bulharsku atd.

Informace z ostatních slovanských zemí nemohly být ani zdaleka tak úplné, protože se podle programu organisačního výboru omezily po každé na jeden referát. Peter Dinekov vyložil, co bylo vykonáno pro lepší poznání bulharských klasiků 19. století, zejména Boteva a Vazova. — Výsledky literární vědy v Jugoslavii zhodnotil Dragoljub Pavlović; za posledních deset let bylo napsáno množství studií z celé oblasti literárního vývoje, zvl. cenné jsou práce o literatuře dubrovnickodalmatské, o romantismu a realismu 19. stol. — Za sovětskou literární vědu promluvil A. S. Mjasnikov. Obrátil pozornost na dva hlavní problémy, kterými se zabývala v posledních desíti letech. Na prvním místě je to otázka periodisace; periodisaci nelze chápat mechanicky a určovat ji jenom podle časových termínů, má i veliký význam ideologicko-společenský. Stejně závažný je i druhý problém — boj proti vulgárně sociologickému rozboru uměleckých výtvorů. Obě tyto otázky dokumentoval prof. Mjasnikov na množství konkretních fakt z nové literární vědy v SSSR. I v literární sekci byly referáty sovětských účastníků rozdány již tištěné (D. S. Lichačev, *Изучение древней русской литературы в СССР за последние десять лет;* A. S. Mjasnikov, *Изучение русской литературы XVIII—XX вв. в СССР за последние десять лет;* M. P. Alekseev, *Славянские источники «Утопии» Томаса Мора).* — Na závěr zhodnotil Frank Wollman výtěžky literárněvědecké práce v Československu. Všiml si též literární historie české jako slovenské za posledních desíti let, ale speciálně se zaměřil na obraz naší literární slavistiky ve všech jejích odvětvích. Jako všude jinde také tu se ukázalo, že zájem o studium slovanských literatur neobyčejně vzrostl zvláště od druhé světové války. Jeho referát doplnil výklad J. Dolanského (v. dále).

Názorný doklad o vzrůstu zájmu o studium slovanských literatur podala druhá část literárněvědného programu bělehradské konference, kde byly předneseny referáty na volné a velmi různorodé náměty. A. Mazon nově osvětlil divadelní repertoár průkopníka ruského divadla 17. věku pastora Gregoriho; M. L. Alekseev vyslovil smělou hypothesu o slovanských pramenech Moorovy „Utopie“, podnětnou ukázku, jak se v Sovětském svazu pěstuje srovnávací studium literatur na nových základech; Fran Petré vyložil problematiku buržoasních směrů v jugoslávských literaturách od t. zv. Moderny k expresionismu a surrealismu; Marja Boršnikova pojednala o přínosu novějšího slovinského písemnictví do světové literatury; Al. Schmaus se pokusil naznačit cesty a cíle studia slovanské lidové epiky; M. Kićović ukázal podrobně, jak souvisí srbské vánoční hry s podobnými lidovými hrami u ostatních Slovanů; J. Dolanský připomněl, jaké jsou úkoly a metody studia vzájemných literárních styků mezi národy Československa a Jugoslavie; Iv. Esih upozornil na nový literární druh Science fiction v slovanských literaturách; A. Mráz ocenil význam srbských lidových písní pro vývoj slovenské literatury

zvl. za Štúrovců; N. Preobraženskij ukázal, jak Puškin užil některých Irwingových námětů ve svých Pohádkách; Haralampije Polenaković objasnil vztahy Jordana Hadžiho Konstantinova-Džinota ke Družtvu srpske slovesnosti; a konečně Jakša Ravlić vyložil dokumentárně, jak se odrazila domácí skutečnost v dubrovnické literatuře.

Jak patrno, byla na bělehradské konferenci slavistů rozvinuta rozsáhlá a velmi různorodá literární thematika. Ve všech přednáškách a referátech bylo tolik nového materiálu a tolik podnětných otázek, že by si každá z nich byla vyžadovala hlubší diskuse, která bohužel odpadla. Ale i tak, jak byly všecky referáty předneseny, aspoň dosvědčily, do jaké šířky a hloubky se studují slovanské literatury v naší době. Vítaným doplňkem k tomu byly i celkové informace o slovanských studiích v neslovanských zemích. Také všude tam patří práci o literaturách závažný podíl. Že ve studiu slovanských i ruských literatur a dějin zaujímá vedoucí místo Institut slavjanovedenija Akademie věd SSSR, není třeba ani připomínat.

Závěrem lze právem říci, že bělehradská konference slavistů dosáhla svého organisačního i vědeckého poslání. Znamenitě pomohla k obnově mezinárodních styků v slavistice. V jednání sjezdovém i mimo ně mohli slavisté na konferenci přítomní obnoviti i navázati hojné osobní styky, poznati vzájemně svou práci a obohatiti se novými poznatky a zkušenostmi.

Část československých delegátů navštívila po konferenci ještě střediska slavistické práce ve Skopji, v Sarajevě, v Záhřebě a v Lublani; všude se seznámili naši delegáti se slavistickými institucemi a podniky (slovníky, edicemi památek a pod.). V Záhřebě byli na zasedání Staroslovenského institutu a mohli vyslovit i své názory ke způsobu vydávání staroslověnských textů. Poznali, kterak se na všech jugoslávských universitách nadšeně a s opravdovým rozmachem pěstují slavistická studia. Poznali také, jak se horlivě studuje český a slovenský jazyk, česká a slovenská literatura; v Bělehradě, v Záhřebě, v Lublani i ve Skoplji jsou pro tento obor zvláštní stolice i lektoráty. Všude pak se jim dostalo srdečného a vpravdě bratrského přijetí. Mohli pozdravit mnohé staré představitele slavistické vědy (zvl. v Lublani R. Nahtigala) i nadšené pracovníky mladší. Vědečtí pracovníci v slavistice i v jiných oborech vědy stejně jako příslušníci všech vrstev jugoslávského lidu, s kterými se setkali, prokazovali jim upřímné přátelství.

Josef Kurz a Julius Dolanský (Praha)

SLAVIA. Časopis pro slovanskou filologii. — Vydává Slovanský ústav Československé akademie věd v Nakladatelství ČSAV. — Tiskne Knihtisk, n. p., závod 01 v Praze. — Redakční rada: Julius Dolanský, Bohuslav Havránek, Karel Horálek, Karel Krejčí (vedoucí redaktor), Josef Kurz, František V. Mareš (sekretář redakce), Frank Wollman, Slavomír Wollman (sekretář redakce). — Redakce: Valentinská 1, Praha I, tel. 656-86 (617-00). Administrace: Nakladatelství Čs. akademie věd, Vodičkova 40, Praha II. — Snížený poplatek povolen dohlédacím poštovním úřadem Praha 022, 313-394-Be 55. Úč. St. banky čs. 438-214. – Ročník XXV, rok 1956, sešit 3.
Rukopis tiskárně 14. III. 1956, imprimatur 29. XI. 1956, vydáno 21. XII. 1956.
Cena tohoto sešitu Kčs 20,—, cena ročníku Kčs 80,—. — A-04 15.

СЛАВИЯ. Журнал по славянской филологии. — Издает Славянский институт Чехословацкой Академии Наук в Издательстве ЧСАН. — Типография: Книгтиск, н. п., завод 01 в Праге. — Редакционная коллегия: Юлиус Доланский, Богуслав Гавранек, Карел Горалек, Карел Крейчи (главный редактор), Йосеф Курц, Франтишек В. Мареш (секретарь редакции), Франк Вольман, Славомир Вольман (секретар редакции). — Редакция: Валентинска 1, Прага I. тел. 656-86 (617-00). — Администрация: Издательство Чс. Академии Наук, Водичкова 40, Прага II. — Том XXV, год 1956, выпуск 3. Сдано в набор 14. III. 1956, подписано к печати 29. XI. 1956, издано 21. XII. 1956.
Цена этого выпуска Кчс 20,—, цена тома Кчс 80,—.

SLAVIA. Revue de philologie slave. — Publiée par l'Institut Slave de l'Academie tchécoslovaque á son Édition. – Imprimée par Knihtisk, n. p., usine 01 à Prague. — Conseil de rédaction: Julius Dolanský, Bohuslav Havránek, Karel Horálek, Karel Krejčí (rédacteur en chef), Josef Kurz, František V. Mareš (secrétaire de rédaction), Frank Wollman, Slavomír Wollman (secrétaire de rédaction). — Rédaction: Valentinská 1, Prague I, tél. 656-86 (617-00). — Administration: Édition de l'Académie tchécoslovaque, Vodičkova 40, Prague II. - Tome XXV, année 1956, fascicule 3. Manuscrit remis à l'imprimerie 14. III. 1956, imprimatur 29. XI. 1956, publié 21. XII. 1956.
Prix de ce fascicule Kčs 20,— abonnement annuel Kčs 80,—.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ:

Все эти статьи посвящены девяностолетию проф. Иосифа Вайса (срав. выпуск 2)

СООБЩЕНИЯ:

TABLE DES MATIÈRES

ARTICLES:

Tous ces articles sont dédié a M. Joseph V a j s nanagénaire (voir fasc. 2)

CHRONIQUE: